Финалист
премии
БОЛЬШАЯ
КНИГА
Сергей
Кузнецов
18+
Калейдоскоп:
расходные материалы
Роман

Сергей Юрьевич Кузнецов

Калейдоскоп. Расходные материалы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18006901
Калейдоскоп. Расходные материалы: АСТ; Москва; 2016
ISBN 978-5-17-092709-8

Аннотация

В новом романе Сергея Кузнецова, финалиста премии «Большая книга», более ста героев и десяти мест действия: викторианская Англия, Шанхай 1930-х, Париж 1968-го, Калифорния 1990-х, современная Россия… В этом калейдоскопе лиц и событий любая глава – только часть общего узора, но мастерское повествование связывает осколки жизни в одну захватывающую историю.

Содержание

1 5
2 12
3 21
4 32
5 48
6 59
7 67
8 78
9.1 89
10 102
9.2 116
Конец ознакомительного фрагмента. 123

Сергей Кузнецов
Калейдоскоп: расходные материалы

© Кузнецов С. Ю., 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Мы подписали не мир, а двадцатилетнее перемирие.
Фердинанд Фош, 1919

Я счастлив, что дожил до конца этой катастрофы; но я бы хотел умереть до начала следующей.
Арпад Гёнц, 1989

1
2013 год
Новогоднее

Миша не спит и думает: что же ему подарят на этот раз? Проснется – и сразу смотреть! Наверно, подарки будут на тумбочке у кровати, ведь елки здесь нет.

Ух, как интересно, что же это будет!

На прошлый Новый год папа подарил Мише калейдоскоп. То есть считалось, что подарки – от Деда Мороза, но Костя из детского сада еще прошлой весной рассказал, что на самом деле подарки дарят родители, а Дед Мороз их только развозит.

От мамы была игрушечная машина с дистанционным пультом управления, а калейдоскоп, конечно, от папы. К латунной, пахнущей кислым металлом трубке приделаны два вращающихся диска, в каждом – восемь кружков, залитых разноцветным пузырящимся стеклом. Стоило повернуть диски – и во тьме тоннеля закрутились симметричные узоры, багрово-кобальтово-изумрудные, раскрывались, как цветы, вертелись, как японские мультяшные зонтики. Миша подбежал к маме – *смотри, смотри!* – и мама сказала: *да, красиво* – таким скучным голосом, что разноцветные зонтики сразу сложились, а цветы – увяли.

Тогда Миша понял: это – подарок от папы. Напоследок он еще раз вдохнул въевшийся в ладошку кислый запах и сунул калейдоскоп на дно коробки, к старым, полузабытым игрушкам.

И снова достал только той ночью, когда мама сказала, что папа теперь будет жить отдельно.

Окно в еловых ветках, пьяные немцы за соседним столиком, гирлянда разноцветными огнями вспыхивает и гаснет. Полчаса до Нового года.

– Понимаете, Лиза, – говорит Александр, – что во всей этой свистопляске по-настоящему противно? Пятнадцать лет назад нам всем казалось, что вопрос закрыт: можно ходить в церковь, медитировать, заниматься йогой, верить в Бога, в мировую гармонию, закон кармы, хоть во Временную Волну Нуля – неважно. Важно было одно – был у тебя трансцендентный опыт или нет? Ну, то есть мистический, без разницы, каким словом обозвать. Вы же понимаете, что я имею в виду?

Лиза поспешно кивает. Она уже немного пьяна и не очень внимательно слушает. Александр такой милый, чуть полноватый, с седеющей острой бородкой, похожий не то на морского котика, не то просто на толстого довольного кота, хоть сейчас в «Фейсбук». Ах, почему мне всегда нравились мужчины старше меня? – думает Лиза и на всякий случай кивает еще раз.

– И в этом смысл всех здешних мистериальных заходов. Здесь, в Обераммергау, раз в десять лет – а когда-то вообще каждый год – все жители собираются, чтобы совместно пережить – ну, попытаться пережить – мистический опыт Евангелия, историю смерти и воскрешения Бога, случившуюся две тысячи лет назад. Может ли такое быть в России сегодня? Еще пять лет назад казалось – почему нет? А сегодня всё, что связано с церковью, с официальной религией, вдруг оказалось отброшено в какой-то XIX или даже XVIII век, на уровень атавистических дискуссий. Я же вижу ссылки, которые вы все постите в «Фейсбуке»! «Может ли быть нравственность без веры?», «Патриарх украл у Навального наночасы», «Суд принял к рассмотрению уложение Трулльского Собора VII века», «Пережившие клиническую смерть видели Бога»… Я все жду, когда кто-нибудь напишет: «А вот космонавты в космос летали и Бога не нашли!» Будто не было, я не знаю, ни Достоевского, ни Честертона, ни Шестова, ни Ницше, в конце концов…

– Ага, – кивает Лиза, – папа говорит: это всё из-за семидесяти лет советской власти. Мы были отрезаны от европейского опыта и теперь…

– При чем тут это? – немного раздраженно говорит Александр. – Поверьте мне, Лиза, в Европе примерно то же самое, только выглядит чуть поприличней. Мне кажется, мир не выдержал всей этой глобализации, либерализма, свободы… повсюду тот же фундаменталистский откат – что у мусульман, что у европейцев, что у русских. Это только изнутри России кажется, будто мы такие уникальные, – а на самом деле мы все живем в конце эпохи, которая началась в 1885 году, когда Ницше провозгласил смерть Бога – и этим открыл возможность невероятного поиска, индивидуального и группового поиска трансцендентных ценностей, который теперь подходит к концу. Ему на смену приходят фундаментализм и консервативные ценности – и нам всё приходится начинать заново: опять учиться говорить о Боге, о мистическом опыте, о трансцендентном прорыве – как в первый раз, словно не было этих ста с лишним лет.

– Да-да, – Лиза радостно улыбается. – Я читала недавно, что в России всё идет по кругу. Как будто ничего не было. Циклы лет по тридцать. Типа революция-реакция-застой и потом снова… и, значит, у нас скоро опять будет какая-нибудь революция, анархия и все такое… где-то к концу десятилетия…

Вот они, двое русских, отмечают Новый год посреди городка, где много веков жили только немецкие католики. Сейчас раз в десять лет местные жители изображают Страсти Христовы, раньше – каждую Пасху. Между прочим, говорят, что кое у кого дипломы гитлерюгенда до сих пор висят дома в рамке. А что такого? У нас в России тоже на антресолях валяются дипломы из пионерлагеря!

А еще прошлой зимой папа подарил Мише снежинку.

– Все снежинки – похожи, – сказал папа, – но каждая – уникальна и неповторима. Вот, смотри!

На темно-синюю Мишину варежку опустилось гексагональное фрактальное чудо, во все шесть сторон распушенное расходящимися веточками.

– Смотри, – повторил папа, – такой снежинки никогда не было и больше никогда не будет.

Миша нагнулся и вгляделся: снежинка была такой же, как все другие, – красиво-симметричной, прозрачно-ажурной и очень непрочной. *Никогда больше не будет*, повторил про себя Миша и, высунув язык, слизнул снежинку.

– Что ты делаешь! – засмеялся папа, но Миша ничего не сказал, только подумал, что теперь, хотя снежинка исчезла, ее частичка навсегда сохранится у него внутри – во рту, пищеводе, желудке, в расходящемся переплетении кровеносных жил, – и он вспомнил картинку в детском атласе, где красные и розовые линии ветвились бесконечным снежиночным узором.

Потом папа посадил Мишу на санки и побежал, потащил за собой, помчался так, что дух захватывало, – быстро-быстро, весело-весело – так, как никто не умеет, даже мама.

– Нет, Лиза, это не круг, – говорит Александр, – и нет у России никакой своей специфики. В смысле есть, но это как у каждого из нас: мы все уникальны и все похожи, все живем по одним и тем же законам: рождаемся, страдаем, влюбляемся, умираем и все такое. Вот и с историей та же история…

Лиза хихикает: *история с историей*, каламбур. Боже, думает Александр, как она похожа на Ингу. Ингу пятнадцать лет назад. Не нынешнюю, а ту, с которой я познакомился под скретчи и лупы московского эсид-хауса. Подпрыгивающая светлая челка, подчеркнутый помадой изгиб губ, татуировка на левом плече, большие серые глаза, сверкающие отраженным светом: давним светом огней танцпола, сегодняшних бенгальских огней или елочных гирлянд.

Той далекой ночью все еще было впереди. Рождение Яны, эмиграция в Германию, появление Клауса и те слова – *ничего у нас с тобой не вышло*, – после которых только развод.

Ну да, мне нравится смотреть на эту девочку, в первый раз выбравшуюся в Европу из своей украинской провинции, потому что ее белокурые волосы, изумленные глаза, трогательная манера улыбаться в ответ на любую глупость дают мне забыть – пусть на мгновение, – что давным-давно нет ни той Инги, ни той Москвы, ни того меня.

История с историей, каламбур.

– Всё повторяется, – продолжает он, – и вместе с тем – не повторяется ничего. Да и вообще – исторические события не существуют сами по себе: они только точки в потоке времени, звенья в цепи причин и следствий. Не замкнутый круг, даже не диалектическая марксистская спираль – это просто бесконечное развитие одних и тех же мотивов, как в музыке. Мотивы те же, а мелодия разная, аранжировки разные, всё разное. У истории ограниченное количество сюжетов и инструментов. Вот рассказ про прекрасный город свободы и анархии, он же – город соблазна и порока. Могут быть разные финалы, но в любом случае город исчезает. Его поглотит пучина, как Атлантиду. Захватят враги. Разрушат внутренние распри. В конце концов, он просто изменится до неузнаваемости – без всяких катастроф. Короче, города не останется – и тогда сквозь ностальгическую дымку он увидится не таким, каким был когда-то, а Вечным Городом из мифа о расцвете, падении и гибели. А может быть, не у истории мало инструментов – у нас мало сюжетов, которые мы можем уложить у себя в голове.

Боже мой, что я несу! – думает Александр. – И зачем? Всего лишь потому, что она похожа на Ингу?

Мы так трогательно встретились, думает Лиза. А я так напугалась, когда Даша в последний момент заболела. Вот те на: собирались вчетвером, Дашка с дочкой, я с сыном, а тут – что, я две недели вдвоем с Мишкой буду? Хотела уже билеты сдавать, хорошо – мама отговорила.

И вот здесь мы и встретились. Так романтично: двое соотечественников в немецком отеле. Занесенный снегом городок, затерянный в Альпах, – и мы вдвоем.

Он-то ездит сюда каждый Новый год, уже пять лет. От Мюнхена час с небольшим, ему удобно. Похоже, знает каждый дом – тем более что дома разрисованные, словно в сказке, – говорит, еще со Средних веков.

И традиции здесь старые, неизменные. Все-таки Европа, обошлось без революций и всякого прочего. Вот перед Новым годом по городу ходят дети со свечами – и мы вчетвером, конечно, тоже пошли. Его дочка взяла моего сына за руку, старше на год, почти взрослая, мы им свечи зажгли. Мы шли, и огоньки были как звезды, где-то далеко пели что-то на немецком, а может, на латыни, я прижималась к Александру и думала, что здесь, наверное, совсем мало местных, все приезжие, как мы.

– Столько народу… – прошептала я. – Представляешь, каковы без туристов все эти… ландшафты?

Он улыбнулся, я крепче прижалась к нему и посмотрела на сына: в трепетном свете Мишино лицо казалось таким серьезным и взрослым, что у меня сжалось сердце.

И все это – как сказка, настоящая рождественская сказка.

Папа говорил: миром управляют цифры. В столетии – сто лет, но в часе не сто минут, а шестьдесят. В году 365 дней, а раз в четыре года – 366. А у майя был еще год в 260 дней. И еще какие-то длинные годы, в тысячи и десятки тысяч дней. Поэто му майя отмечали разные Новые года – какой-то раз в год, как мы, какой-то два раза в год, а какие-то – совсем редко. И только раз в пять с чем-то тысяч лет все эти Новые года совпадают – вот как сейчас, в декабре 2012-го. Конечно, древние майя устроили бы по этому поводу большой празд-

ник – вот и всё. Так, во всяком случае, говорил Мише папа. А еще он говорил: только дураки боятся, что может случиться конец света.

Миша, конечно, не дурак, но ему немножко страшно: все-таки сейчас последний день 2012 года. Вдруг кончится год – и все, ничего больше не будет? Ни мамы, ни папы, ни самого Миши.

Страшно, да? К тому же Костя в детском саду говорил, что те, на ком нету крестика, точно погибнут. Их проглотит огромный зверь, который приплывет из моря. Косте так объяснил батюшка.

У Миши, конечно, есть крестик, но совсем маленький. Вдруг зверь его в темноте не разглядит? Что тогда?

Жалко, папы нет рядом. Папа бы сразу что-нибудь придумал. Сказал бы, например, что до моря далеко и морской зверь так высоко в горы не заберется. Или что-нибудь еще. Когда папа рядом, совсем не страшно – не то что сейчас, в пустой темной комнате.

Миша закрывает глаза и пытается уснуть. Как учит мама, он представляет овечек – они одна за другой прыгают через ограду. Он считает их: раз, два, три, четыре… – и тут видит, что по ту сторону ограды плещется море, овечки падают туда и тонут.

Миша открывает глаза и садится в кровати.

– Мама! – тихо зовет он.

* * *

– *Прозит!* – говорит хозяин, чокаясь с Александром.

Прадед хозяина родился в Кёнигсберге и во время войны вместе с другими немцами отступил в Германию. Потому хозяин считает Россию своей исторической родиной и бесплатно поит русских туристов новогодней ночью. Тем более он знает – там-то уже наступил Новый год.

– *Прозит!* – отвечает Александр, перекатывая на языке терп кий вкус хозяйской настойки.

Лиза тоже опрокидывает стопку – *ну, с наступающим!* – и морщится: складочки разбегаются от переносицы к круглым серым глазам и раскрасневшимся щекам – получается очень мило.

– Это главное, что мы поняли за последние сто лет, – продолжает Александр. – Не будет не только вечного повторения, но и никакого конца света. Ни новых небес и новой земли, ни нового человека, ни конца истории – ничего не будет, только череда мотивов и их рекомбинация. Казалось, что вместе с Советским Союзом умерла последняя утопия, – а через десять-пятнадцать лет выяснилось, что исчезли не утопии, а возможность отметить их смерть как важное событие. Любой способ описать историю утратил смысл – в том числе подход к истории как к бессмыслице. Совсем недавно думали: если сказать «история не имеет смысла» – от этого-то смысл и появится. А ведь слова «не имеет смысла» ничем не лучше других слов! Все равно что сказать: история – Божья воля, или несчастный случай, вечное возвращение, заговор, предопределенность, да что угодно! Все это больше не работает. Можно повторять любые слова – все они потеряли смысл. На самом деле история просто есть.

Лиза кивает, хлопая ресницами.

– История просто есть, – повторяет она.

Просто есть, думает Александр. Вот и мы так же: просто есть. Можно сказать любую пошлость: соотечественники на чужбине, бывшие соотечественники на чужбине, бывшая соотечественница на моей новой родине… родственные души в новогоднем безвременье… да хоть просто встретились два – как их? – одиночества. Что угодно.

На самом деле мы просто есть: сидим за столом, ждем, пока в Германии наступит 2013 год, пьем хозяйскую настойку. Интересно, если бы моих предков выгнали из родного города, я бы тоже рад был встретить нынешних его жителей?

(перебивает)

Есть у меня приятель, калифорнийский вьетнамец. Успешный, социализированный раскованный красавец. Его отец был сайгонским генералом. В последний момент сбежал вместе с американцами от Хо Ши Мина. Настоящий военный.

Однажды на полном серьезе он сказал сыну:

– Я в твоем возрасте уже полком командовал!

Мне-то казалось, так только в советском кино говорят. Или советские родители, насмотревшиеся такого кино. Оказывается, сайгонские генералы тоже… Но и сын не растерялся. Ответил, что зато он к своему возрасту ни одного человека не убил. И очень этим доволен.

И вот однажды этот приятель решил съездить на родину. Поселился в отеле, взял рикшу. Назвал адрес, где когда-то жил с родителями. Приехал – стоит старый дом, в колониальном стиле, тот самый, который он помнит с детства. Там, конечно, уже давно живут другие люди.

Мой приятель вышел из коляски, посмотрел на этот дом – и зарыдал.

Рикша спросил его:

– Что случилось?

Тот объяснил, что здесь прошло его детство. Давно, еще до того, как он уехал из Вьетнама. А рикша ему и говорит:

– Наверное, такая у меня карма. Полгода назад я вез сюда очень старого француза. Так он тоже плакал и говорил, что здесь прошло его детство.

Потому что до того, как коммунисты выгнали сайгонцев в Америку, вьетнамцы выгнали французов во Францию.

Приятель угощал нас вьетнамским обедом в своем сан-францисском лофте. Рассказал эту историю. А потом спросил:

– Ну и как должна выглядеть историческая справедливость? Кому должен принадлежит дом *по совести?* Нынешним обитателям? Моей семье? Французским колонизаторам? Вьетнамским строителям?

Пройдет много лет, и Миша – тогда уже Михаил, а возможно, Михаэль, Майк или Мишель – будет вспоминать эту ночь.

Ему было шесть лет, он впервые поехал отдыхать вдвоем с мамой, без папы. Поехали в Германию – тоже впервые. Сначала на поезде из родного Днепропетровска в Киев, потом с вокзала на такси в аэропорт, потом на самолете, потом мама взяла напрокат машину, и они поехали в отель.

Первые два дня Мише было с мамой очень весело, а потом появился дядя Саша с дочкой Яной, вредной девочкой, плохо говорившей по-русски, и мама совсем забыла Мишу, ходила с этим Сашей под ручку – и каждый раз, видя их вместе, Миша думал о папе. Он смотрел на цветные огни гирлянд и вспоминал о подаренном калейдоскопе, а когда шел снег – о том, что все снежинки разные.

Новогодней ночью они отметили русский Новый год, мама отправила Мишу спать, сама пообещала скоро прийти, но все не шла, и Миша даже хотел заплакать, потому что был совсем один – без папы, без мамы, даже без дедушки, – но потом вспомнил, что у него есть мобильный, подарок дедушки Сережи, и, наверно, это тот самый крайний случай, когда можно позвонить, хотя он и знал, что звонить по телефону заграницей очень дорого.

Он влез в тапки, дошел до джинсов, сваленных на стуле, и достал из кармана мобильный. Всего два номера – мамы и бабушки, даже папы не было. Миша подумал, что, когда вернется, обязательно возьмет у папы номер.

Сделал бы он это раньше – позвонил бы папе сейчас. Папа бы его утешил, сказал бы что-нибудь смешное или что-нибудь умное. А мама… мама, наверно, будет ругаться, что он не спит. Миша хлюпает носом, за окном взрывается петарда, и он от испуга тычет пальцем в зеленую кнопку.

Так Миша и будет вспоминать эту ночь через много лет: пустой гостиничный номер, маленький мальчик с дешевой старомодной «нокией», снег за окном, яркие вспышки фейерверков – и кажется, что он совсем один во всем мире.

Он будет вспоминать… если только конца света не случится.

– Некоторые христиане верят, что Христа распинают ежечасно, – говорит Александр, – не раз в десять лет, как здесь, а каждое мгновение, каждый миг, пока длится время и существует вечность. Точно также мы можем сказать, что конца света не будет, но мир кончается все время, каждое мгновение гибнет и появляется уже новенький. Перманентный конец света, этакий непрерывный суицид.

Раздаются *Jingle Bells*, навязчивая рождественская трель. Лиза, смущаясь, лезет в сумочку, достает старый айфон, говорит: *Аллё, ты почему не спишь?*

Значит, мальчик не спит, думает Александр. Наверно, даже хорошо. Ведь если идти куда-то вдвоем – то к ней в номер, она ведь даже намекнула, что собиралась ехать с подругой, номер взяла большой, оказался чуть ли не двухкомнатный, сын, мол, спит отдельно.

Лет десять назад Александр бы с радостью, да. На Ингу похожа и вообще… челочка, губки, глаза эти распахнутые… точно бы не удержался. По молодости был большой ходок. После развода, в тоске и бессоннице, как-то ночью попытался сосчитать, сколько у него было, – сбился со счета и уснул. Несколько раз повторял – сподручней, чем овец считать, лучше любого снотворного.

Может, оно и неправильно, что всех не упомнишь, – но, с другой стороны, с каждой ведь была любовь. Маленькая, но любовь.

Еще пару лет назад он так думал, про любовь. А теперь почему-то вспомнил, как еще до Яниного рождения был с Ингой в Гоа и повстречал там Митю с молодой женой. Инга тогда была та еще оторва, вечно его дразнила, стала строить Мите глазки, потом убежала в ночь, к морю, Митя рванул за ней, и пока они там говорили о чем-то в полосе прибоя, он как раз все с Митиной женой успел… как же ее звали? Совсем вылетело из головы, да и вообще почему-то стыдно вспоминать.

Совсем немножко, но стыдно.

Нет, думает Александр, никуда я с этой Лизой не пойду. Еще по одной – и к себе. Там спит в своей кроватке Яна – маленький белокурый ангел. Небось, раскрылась, как всегда, раскинула руки, разметала волосы по всей подушке… укрою получше – и спать.

Хорошо, что Инга ее со мной отпустила.

Доченька моя. Моя Яна. Вырастет – будет говорить по-немец ки, прощай, русский язык. Станет небось называть своим отцом этого Клауса, будь он неладен.

Александр вздыхает.

– Миша никак не уснет, – говорит Лиза с виноватой улыбкой, – но мы ведь никуда не спешим, правда?

Большие серые глаза смотрят с надеждой. Александр пожимает плечами:

– Да я уже закончил, если честно. К тому же я все это выложил у себя на странице в Интернете. Называется «Крах коммунизма и существование истории» – там всё, что я рассказывал, только подробней.

– Я обязательно прочту, – говорит Лиза, – а вы скажите: как вы думаете, что же все-таки будет дальше? Я имею в виду – с Россией. С Путиным, с этими девочками, с Навальным, со всеми нами? Вам ведь отсюда должно быть видней, правда?

– Я же сказал, – грустно улыбается Александр, – будет то же самое. Всё как в первый раз – и ничего нового.

Миша открывает глаза. За окном – заснеженные склоны далеких гор, прозрачное до синевы альпийское небо. Если выйти на улицу – увидишь пряничные домики с нарисованными человечками в сказочных одеждах, высокие сугробы, следы ночных фейерверков. Увидишь, что наступил 2013 год, новый, ни на что не похожий год, такой же, как все другие, год новых любовей, рождений и смертей, причин и следствий, надежд и разочарований.

Но Миша уже не смотрит за окно – перед ним на прикроватной тумбочке лежат два запакованных в цветную бумагу подарка. Стараясь не разбудить маму, он тихонько разрывает обертку…

Конец света так и не случился.

2012 год прошел.

* * *

От волнения мальчик чуть высовывает язык, с усилием открывает книгу – непривычно большую, как у древних волшебников. Он уже умеет читать – не просто разбирать буквы и складывать слова, но читать по-настоящему, как взрослые! – но читать сейчас не будет, только посмотрит картинки.

Ох, никогда таких не видел! Краски яркие-яркие, кажется – фигуры стронутся с мест, побегут со страницы на страницу, перемешаются…

Что там, на картинках?

Диковинные звери – люди-кошки, люди-овцы – красивые и страшные.

Хрустальный корабль на изумрудных волнах, а дальше – чудесный город уходит под воду, а потом – город сияет огнями афиш, неоновый свет, зарницы реклам, а вот и часы, на них без пяти двенадцать – а может, без шести, без семи – так ли важно?

Город, объятый пламенем, город, подернутый дымкой, город, скрытый туманом, неразличимый, словно папиросная бумага намертво прилипла к странице… а вот два рыцаря у запертых ворот высокой башни.

Двери закрыты – и двери распахнуты.

Вот двое сомкнули объятья – а вот отвернулись: все те же… а может, другие?

А вот берег моря, где-то дымится вулкан, впереди – мужчина в смешном, причудливом наряде… что он здесь делает?

Страница шуршит за страницей, и запах бумаги, и краски, и все это – как обещанье.

Когда-нибудь мальчик прочтет эту книгу. Когда-нибудь – но не сегодня.

Он улыбается и перелистывает страницу.

2
1885 год
Смерть Старика

Неправда, что история повторяется дважды, как трагедия и как фарс. История повторяется множество раз, в разных жанрах – и чаще всего мы придумываем эти жанры задним числом, потому что для действующих лиц любая история – драма. Редкий человек видит себя героем фарса, персонажем комедии или водевиля, но сегодня, думая о наследниках, собравшихся в доме умирающего старика, невольно представляешь себе немного старомодное театральное действо, разыгранное привычными масками: Старый Дворецкий, Хитрый Управляющий, Бескорыстная Наследница, Жадный Наследник, Бедный Поэт, Пронырливый Журналист, Умирающий Старик…

Чтобы ввести публику в курс дела, они будут долго пересказывать друг другу предысторию событий, перемежая воспоминания ироническими колкостями и натужными остротами. Через полчаса представления зритель, наконец, разберется, что же происходит. Сэкономим время и расскажем в двух словах.

Итак, в своем доме в австрийских Альпах в возрасте девяноста шести лет умирает Барон Джи, представитель мощной финансовой династии, последние полвека контролировавшей едва ли не всю европейскую экономику. Главные наследники – его внучатые племянники Карл и Анна, родившиеся в результате сложных внутридинастических браков и усыновленные Бароном Джи после смерти их родителей. Среди множества родственников еще двое могут претендовать на наследство – Элизабет Темпл, живущая в Лондоне кузина Анны и Карла, и Ева, любимая племянница Барона. Однако Барон недолюбливает кузину Элизабет (ее мать вышла замуж без разрешения своего отца), а имя Евы запрещено даже упоминать после того, как она пару лет назад сбежала с русским офицером.

Помимо старого дворецкого Жоржа и управляющего Эдмона Дюрана, в доме находятся светский журналист Генрих Вайсс и молодой поэт Густав, ухаживающий за Анной. Вся интрига строится вокруг огромного алмаза – единственного, что осталось от некогда огромного состояния Барона Джи. Старик никому не хочет говорить, где спрятан камень. Возможно, он ждет Еву, чтобы перед смертью простить ее и одарить бесценным бриллиантом…

Итак, ясный весенний вечер. За окном гостиной, обставленной старомодной массивной мебелью, – заснеженные склоны далеких гор, прозрачное до синевы альпийское небо.

Только что Карл, застав свою сестру в объятиях Густава, обвинил молодого поэта в том, что он ухаживает за Анной в надежде получить часть наследства Барона Джи. Возмущенный Густав покидает комнату. За портьерой, как водится в водевилях, прячется Генрих, пронырливый и беспринципный журналист…

Обиженная за своего возлюбленного, Анна хочет убежать следом за Густавом, Карл удерживает ее.

– Как ты несправедлив! – восклицает Анна. – Густав – самый бескорыстный человек из всех, кого я встречала. И он прекрасно знает, что у нас почти ничего нет. Я сказала, что мы были вынуждены даже продать наш дом в Париже и переехать в эту глушь.

– Ничего нет? А Пуп Земли?

– Боже мой, Карл, дядя скорее умрет, чем расскажет, где он.

– Дядя умрет так или иначе. Когда тебе почти сто лет, это обычное дело. Но если ты спросишь его…

– Карл, я не буду докучать умирающему старику…

– После того как Ева сбежала с русским офицером, ты стала его любимой племянницей. Если он и расскажет, где камень, то только тебе.

– Дай ему умереть спокойно!

– А он разве дал нам спокойно жить? Единственное, что он любит, – свое дело, свой банк. И, конечно, все должны быть такими, как он! Не спрашивая моего желания, не сверяясь с моими склонностями, он вознамерился сделать из меня своего преемника! И вот – с тех пор как мы переселились в его парижский особняк, я не знал ни дня покоя. Молодость? Веселье? Радость? Это не для меня! Тринадцать лет в Париже – и ни разу не сходить в Оперу! С утра до ночи – векселя, кредиты, счета! Я даже во сне вижу эти бесконечные бумаги с его размашистой подписью, этими джи-аш-дубль-вэ-аш. Тринадцать лет я горбатился на него – и ради чего? Крупнейшее в Европе состояние истаяло на моих глазах! Так дай мне хотя бы получить этот камень, мы его заслужили!

– Пусти меня! – Анна выдергивает руку и почти бегом покидает комнату.

Карл подходит к занавеси, за которой прячется Генрих.

– Жаль, у меня нет шпаги, и мы не можем поиграть в Гамлета и Полония.

– Я задремал, любуясь пейзажем, – говорит Генрих.

– Точнее – подслушивая наши разговоры.

– Не судите меня строго. В конце концов, такова моя работа. Не всякому посчастливилось родиться в богатой семье.

– Сомнительное счастье.

– Вам просто не с чем сравнивать. Жизнь бедняка по сравнению с вашей – всё равно что булыжник в сравнении с… с Пупом Земли.

Пауза. Карл пристально смотрит на журналиста:

– Вы знаете о?..

– Это моя работа – знать! Огромный бриллиант, всё, что осталось от некогда гигантского состояния, – но он и один стоит состояния.

– Да, этот камень бесценен.

– Откуда он у вашего дяди? Забрал за долги у какого-нибудь индийского раджи? Обменял на просроченный вексель? Выиграл в кости?

– Старик не играет в кости. И не говорит, где камень.

– У меня есть идея. Если она сработает – с вас комиссионные в двадцать процентов от стоимости камня.

– Двадцать процентов? Да это грабеж! Не забывайте, кто меня учил коммерции! Дядя никогда не простил бы мне, если бы я согласился на такое! Пять процентов – красная цена любой вашей идее.

– Отлично. За пять процентов можете использовать собственные идеи. Меньше, чем за пятнадцать, я не буду даже разговаривать.

– Хорошо. Восемь процентов.

– Десять.

– По рукам. Говорите вашу идею.

Генрих оглядывается и шепчет Карлу на ухо:

– Гипноз. Я видел, как под гипнозом люди становятся круглыми дураками.

– Я видел, как люди становятся круглыми дураками без всякого гипноза. Но я не так глуп, чтобы…

В гостиную входит Эдмон Дюран, представительный мужчина шестидесяти лет. Заметив Карла и Генриха, он останавливается, возмущенный:

– Шарль! Разве я не сказал, чтобы и ноги этого проходимца здесь не было!

– Я уже ухожу, месье Дюран! – Генрих направляется к двери в противоположном конце сцены. – Карл, помните! – Дважды показывает растопыренную пятерню и уходит.

– Что имел в виду этот прохвост? – спрашивает Эдмон по-французски.

– Уговаривал меня загипнотизировать Старика и узнать, где тот прячет Пуп Земли.

– Не выйдет. Я сорок лет с ним работаю – если он не хочет говорить, то скорее умрет, чем скажет.

– А умрет он скоро.

– Мне казалось, Старик бессмертен, – с неожиданной грустью говорит Эдмон.

– Его подкосило бегство Евы, этой маленькой шлюшки! А ведь она могла бы стать вашей хозяйкой, Эдмон!

– И вашей тетей, Шарль!

– Так что мы должны быть признательны этому русскому офицеру… как его фамилия?

– Зябликов.

– Язык сломаешь.

– Варварская нация. Татары.

– Лучше с ними не связываться. Возьмем хотя бы Наполеона…

Входит Жорж, дворецкий. В руке у него листок бумаги.

– Господа! Только что принесли телеграмму! Мадемуазель Ева приезжает в эту пятницу.

Карл и Эдмон одновременно вскрикивают, Карл выхватывает листок из руки Жоржа. Они с Эдмоном читают, неразборчиво бормоча себе под нос.

– …Любящая вас. Ева.

Эдмон рвет телеграмму и бросает обрывки на пол.

– Месье Дюран, что вы делаете?

– Вы же не собираетесь говорить об этом Старику, Жорж?

– Конечно, я скажу об этом Хозяину, месье Дюран. Как же иначе?

– Я запрещаю вам!

– При всем уважении, месье Дюран, в этом доме есть только один человек, который может мне что-то запретить. И вы знаете, кто это.

Дворецкий поднимает палец, указывая на потолок.

– Послушайте, Жорж, – Карл берет дворецкого под руку, – я все объясню. Дядя очень болен. Любая внезапная новость – даже радостная – может убить его. Представьте, вы говорите, что Ева вот-вот будет здесь, и – хлоп! – еще один удар. Может, лучше подождать, пока вертихвостка прибудет, – ну, и тогда устроить дяде сюрприз?

Дворецкий колеблется.

– А кроме того, мы-то помним, в какой он был ярости, когда Ева сбежала! Запретил упоминать ее имя! Бил посуду! А вдруг он снова рассвирепеет? Вы же не хотите отравить его последние дни…

– Наверное, вы правы, месье Карл. Давайте дождемся, пока мадемуазель Ева приедет…

– Вот так-то лучше! А пока распорядитесь приготовить моей сестре комнату.

Дворецкий уходит. Эдмон достает платок, вытирает вспотевшее лицо.

– Спасибо, Шарль. Я бы не смог убедить этого старого осла. Мы должны действовать, у нас мало времени. – Эдмон выходит, и одновременно в дверь, куда минутой раньше ушел дворецкий, вбегает Анна.

– Ты слышал? Ева приезжает!

– Да, все собираются как мухи на запах смерти. Не хватало еще, чтобы примчалась кузина Элизабет из Лондона!

– Но если Ева приезжает – теперь ты отстанешь от меня с этим камнем?

– Наоборот! Нам надо спешить! Мне удалось заморочить Жоржу голову, но это ненадолго. А если Старик узнает, что Ева возвращается, – он точно не скажет нам, где камень.

– Ну и что? Он скажет Еве!

– Ты думаешь, она поделится с нами?

– Конечно. Она ведь наша сестра!

– Двоюродная сестра. И троюродная племянница. А если бы не сбежала, стала бы нашей тетей!

– Я не хочу слышать эти гадости! Мы жили у него в доме пятнадцать лет, он был нам вместо отца, теперь он умирает. А тебя беспокоит только этот проклятый Пуп Земли. Анна, он глубокий старик. Ему почти сто лет! Он не может жить вечно! А нам… у нас вся жизнь впереди. Тринадцать лет! Мне кажется, эти тринадцать лет я вовсе не жил! Он нависал надо мною, словно… скала… словно какой-то ветхозаветный Саваоф… беспрекословное повиновение… «я знаю лучше!»… «делай, как я сказал!»… на дворе XIX век, век свободы, а мы… разве мы знаем, что такое свобода? Ни ты, ни я, ни Ева – никто из нас не мог распоряжаться собственной жизнью. Вот Ева и сбежала, да и ты, развесив уши, слушаешь этого рифмоплета.

– Карл, перестань! Я люблю Густава!

– Плюнь на него! Зачем тебе этот горе-поэт? Старик умрет – и мы заживем! Ты не представляешь, какая жизнь… какие возможности откроются!

– Не говори так! – всхлипнув, Анна выбегает в сад, не в силах закончить.

Карл спешит следом за ней.

В гостиную входят Генрих и Густав.

– Если бы ваша газета напечатала статью о скандальном романе наследницы Барона Джи и молодого поэта…

Генрих замечает на полу обрывки телеграммы и, нагнувшись, начинает складывать клочки, как пазл. Густав помогает ему, не прекращая говорить:

– …тогда, чтобы спасти честь Анны, я был бы вынужден жениться на ней как честный человек…

– Густав, вы – честный человек?

– Я никогда не старался быть лучше моих ближних, господин Вайсс! Это просто такое выражение – «жениться как честный человек». Когда говорят, что некто бежит как угорелый, это же не значит, что он угорел!

Генрих поднимается, держа в руках обрывки телеграммы.

– Простите, дружище, мне нужно срочно на почту. Побегу как угорелый. Боюсь, нашим читателям будет не до романа фройляйн Анны – тут сюжет поинтересней! Возвращается любимая племянница Старика – и если застанет его живым, то я знаю, кто будет самой желанной невестой во всей Европе! Но если ангел смерти опередит ее… и Карл не поторопится… хотя он уже все испробовал… разве что гипноз…

Генрих выбегает из гостиной, что-то неразборчиво восклицая.

Густав смотрит в окно на заходящее солнце.

– Солнце заходит. Так и жизнь закатилась… – декламирует он и после паузы добавляет: – Каждый вечер природа напоминает нам о бренности нашего бытия! Какая навязчивая метафора! Подумать только, мы говорим о всякой ерунде, а здесь, прямо в этом доме, умирает человек, который правил всей Европой. Подлинный король Франции. Титан финансов. Владыка векселей и бог кредитов. Я был мальчишкой, когда впервые услышал его имя. К нему пришел принц Уэльский, а Старик сидел и работал – его уже тогда называли Стариком – и сказал, не поднимая головы: «Возьмите кресло и садитесь!» Возмущенный принц воскликнул: «Да вы понимаете, с кем вы говорите!» – а Старик на секунду оторвался от бумаг, глянул на его высочество и сказал: «Ну, тогда возьмите два кресла». История, достойная Плутарха!

Подходит к столу, задумчиво барабанит пальцами по столешнице.

– Целая эпоха умирает! Здесь, прямо над нами! – Густав поднимает голову и глядит на дубовые балки. Взгляд проникает сквозь потолок, и мы видим полутемную спальню. В большой кровати со столбиками резного дерева лежит Старик. Он совершенно неподвижен, в темноте нельзя рассмотреть лица, но мы слышим тяжелое прерывистое дыхание.

Значит, он еще жив.

Я еще жив. Боль не дает об этом забыть. Там, за решеткой ребер, в глубине худого, пятнистого от старческого пигмента тела, она распускается цветком, осьминогом расправляет щупальца, проникает в самые дальние уголки, рассылает курьеров, одного за другим, лучшая фельдъегерская служба, собственные конюшни во всех ключевых городах, до появления телеграфа мы опережали правительственную связь между Веной и Парижем минимум на два часа, а между Парижем и Лондоном – на все шесть. Мы держали Европу в кулаке, трое родных братьев… магический треугольник, с глазом посередине: мы видим вас, мы слышим вас, мы владеем вами. Ни одна золотая песчинка не укроется от нашего внимания, ни один золотой волос не выскользнет незамеченным из пальцев златошвейки, ни одно слово, произнесенное втайне, не останется не услышанным. Пусть преумножатся отделения нашего банковского дома, да станут они неисчислимы, подобно песку морскому, пусть покроют тело Европы, как старческие веснушки покрывают сухую морщинистую кожу, сначала по одиночке, потом – созвездиями, а потом – гроздьями, рыжеватыми, желтыми, коричневыми пятнами на сухом пергаменте плоти, будто кляксы на ветхих листах бумаги, на первых счетах, которые я выписывал вечность тому назад, когда был еще молод и не знал, что впереди меня ждут сила и слава, власть и богатство, одиночество и отчаяние. Весенним утром я стоял на пороге отцовской лавки, готовый отправиться в путь, потому что вот и мне настала пора вслед за старшим братом покинуть отчий дом, и через предвоенную Европу, замершую в ожидании своей судьбы, двинуться в самое ее сердце, туда, где поднималась звезда великого корсиканца, сияла обманчивым светом могущества и удачи, манила юношей всего континента мечтами о воинской доблести и далеких походах, даруя им взамен безымянные могилы в дальних странах с названиями, словно сошедшими со страниц духовных книг и рыцарских романов, которых я никогда не читал, потому что с детства предпочитал власти вымысла – власть над реальностью. Реальность была так податлива, так доступна… ею оставалось лишь овладеть, точь-в-точь, как рыжеволосой Марией, покорно задравшей свои юбки передо мной, пятнадцатилетним хозяйским сыном, горячо дышавшим в розовое ушко, чуть присыпанное мукой из взбитого нашими телами мешка в задней комнате отцовской лавки, откуда я навсегда уйду через два года, променяв провинциальность австрийского захолустья на имперский лоск наполеоновского Парижа, который я увидел в своих мечтах куда раньше, чем в почтовой карете въехал в него через предместье Сан-Антуан. Вот он, секрет моей удачи, моей власти – весь мир изначально уже скрыт в моем мозгу, свернут, как карта в багаже путешественника, и по мере того, как я продвигаюсь вперед, свиток разворачивается, являя людям то, что я знал раньше, то, что измыслил заранее. Мир создан мной – конечно, не за шесть дней, и не за семь, но бесконечным неутомимым усилием, ежедневной работой, предельной концентрацией, смысл которой оставался непостижим для тех, кто был рядом, для тех, кого я хотел обучить всему… Для Соломона, Мишеля, Эдмона, Карла… увы, они разочаровали меня, никчемные люди, не пригодные к настоящему делу… они управляются со счетами, вычисляют кредиты и собирают долги, но не могут не то что создать мир, но даже удержать его могуществом своей воли. И если я умру – а я ведь когда-нибудь умру, я не могу об этом не думать, особенно теперь, когда мои руки, ноги, губы и язык словно налиты свинцом, неподвижны, как у статуи, – так вот, если я умру, что станется с этим миром? С великолепной Европой финансовых потоков и торговых операций, с хрустальными пассажами Парижа, мраморными изваяниями Рима, горными вершинами за окнами спальни? Неужели всё растворится в небытии, развеется без следа, исчезнет, точно

сны с первыми лучами солнца, почти не проникающего в эту сумрачную комнату, куда лишь изредка заходит прислуга – принести питье, заходит Анна – пожелать спокойной ночи, заходят Карл или Эдмон – задать один и тот же вопрос, вопрос, который я знаю заранее, на который они не услышат ответа. Пускай ищут, пускай мучаются, пускай перевернут вверх дном весь дом, заглянут под каждую половицу, простучат в поисках скрытых ящиков каждый дюйм инкрустированного дерева секретеров и конторок, ощупают каждый завиток дубовой резьбы шкафов и комодов в тщетной надежде, что включится тайный механизм, сдвинется панель и в глаза сверкнет вожделенная радуга алмазных граней, нет, нет, я не пошлю им радуги, не заключу с ними союз, не пообещаю спасения от потопа, который уже поднимается из глубин мира, созданного мной. Я вижу, как волны хаоса захлестывают улицы, как прибой небытия поглощает города, как небесная тьма, спускаясь долу, сливается с бурлящей тьмой наводнения, как мир уходит следом за своим хозяином, своим творцом.

Я не знаю, день сейчас или ночь, не знаю, какая страна за окном, в семнадцать я покинул Пруссию моего детства, покинул навсегда, чтобы построить дом в Париже, подобно тому, как Натан воздвиг свою твердыню в Лондоне, а Лионель возвел свою в Вене, и, когда пришел срок, мы натянули Европу на этот треугольник, как скорняк натягивает коровью шкуру на деревянный каркас, уверенно и равномерно повышая натяжение, завинчивая болт за болтом, растягивая, словно на дыбе, пока наконец не затрещат кости, боль не вопьется в мои суставы, такая боль, что у меня нет сил даже пошевелиться, вот я и лежу неподвижно, и вонь застарелого стариковского пота шибает в нос, правая рука бессильна, пальцы левой скрючены, как когти орла на фамильном гербе, который выбирали мы с Натаном, а Лионель, вечный наш младший брат, только соглашался и кивал, как всегда, когда мы что-то предлагали, не споря, не переча, не повышая голоса, вот Натан и одарил его своей старшенькой, своей Джули, светловолосой красоткой, тихой и смиренной, под стать будущему мужу (и заодно – урожденному дяде). Джули так мила, что каждый раз, когда она приходит пожелать мне спокойной ночи, я хочу сказать, что немного завидую Лионелю… жаль, во рту у меня кислый привкус, язык распух и шевелится с трудом, а гортань забыла, как издавать любые звуки, кроме стонов и мычания, да и те едва слышны, вот никто и не приходит ко мне, наверно, потому что все они умерли – и Лионель, и Натан, и Альфред… ах да, и Джули тоже умерла, они же умерли с Лионелем от оспы, как раз за год до обвала на Венской бирже, и Натан тоже умер, боясь за меня, так и не узнав, что Парижская коммуна продержалась совсем недолго и почти не затронула наш банк, мой дом на рю Сен-Флорантан устоял, как утес посреди бури, и стал надежной гаванью сначала для Евы, а потом для Карла и Джули, то есть для Карла и Анны, что-то я путаюсь в последнее время, наверно, потому что в спальне так темно и трудно различать лица… Анна, Джули… они же похожи, правда? Такие худосочные блондинки, все в жену Натана, как ее звали? Бетти? Маргарет? Не могу вспомнить, да и неважно, все равно она ко мне никогда не приходит, вот я и лежу здесь один. Если бы Ева была дома, она бы пришла, она бы услышала… но Ева куда-то уехала, много месяцев назад… кажется, в Германию… или в Австрию… а мы остались здесь, в Париже. Нам нельзя уезжать, вдруг от Евы придет письмо… или от Натана… а они не знают другого адреса, привыкли писать мне на рю Сен-Флорантан за эти сто лет… а ведь когда-то я жил в других городах, по другим адресам… жил и умирал…много раз… умирал и воскресал. Выскакивал, как кукушка из окошка в часах, ку-ку, вот он я, снова тут! Накукую нам всем долгую жизнь, да не одну, а сколько захочешь! Открывается дверка, вылетает деревянная птичка, распрямляется пружинка… ку-ку, вот он я!.. только в этот раз что-то поломалось, не то зубчики сточились, не то колесико выпало, не то проржавели шестеренки, стрелки замерли, дверцу заело, не работает больше машинка, механизм вышел из строя. Это как зерно бросишь в землю – а оно не прорастает весной. Умираешь – и всё.

Очень страшно.

Становится совсем темно. Этой зимой какие-то очень длинные ночи, бесконечные, мучительные. Даже свечи горят тускло, им не хватает сил рассеять темень, не хватает света. Ева, Ева, где же ты? Рыжие твои волосы озарили бы эту залу, глаза твои вспыхнули бы, разгоняя мрак. Я помню, мы играли, ты сидела у меня на коленях, а крашеный деревянный волчок крутился по столу, подгоняемый твоим смехом… помню, ты бежала по желтой песчаной дорожке в белом шелковом платье с широкой юбкой, катила перед собой обруч, ветер развевал твои волосы, и казалось, солнце запуталось в них, словно в ветвях дерева. Моя девочка, доченька… куда ты уехала? Кто прогнал тебя из моего дома? Кто посмел? Принеси мне воды, я хочу пить. Отчего ты не слышишь меня? Ева, Ева, где ты? Почему так темно?

(перебивает)

Да, *old money* – это нечто особенное.

У меня есть знакомая. Французская еврейка. Ее семья бежала из Северной Африки, когда там случилась деколонизация. Были они богатые люди и довольно много увезли с собой, так что и во Франции потом не бедствовали. Но все равно – по Египту скучали.

И вот прошло много лет. Дети подросли. Страсти улеглись. В Африке все тоже поуспокоилось. И они решили съездить туда в отпуск. Купили билеты на самолет, мать позвонила в египетское турагентство забронировать отель и назвала сотруднице свою фамилию.

– Ой, – воскликнула девушка, – какая забавная фамилия! У нас есть универмаг, который так называется!

Мать, помолчав, сказала:

– Это был наш универмаг.

И повесила трубку.

Задремала – и тут же проснулась. Приснился Санкт-Петербург, холодный, занесенный снегом. Она выходит из коляски, Алексей подает руку и улыбается. На нем особый гвардейский мундир, который бывает только во сне, парадный, шитый золотом и украшенный бриллиантами, сверкающий, как рождественская елка, а на ней обычная шубка, очень скромная, серебристо-белая, нежная-нежная, под цвет петербургского снега. Ева опирается на руку Алексея, соскакивает на землю – и тут же просыпается, возвращается к стуку колес, дымчато-зеленеющему лесу за окном, далеким горным вершинам.

Это был только сон, увы. Ведь прав был дядя: из Алексея не вышло хорошего мужа. Прошлой осенью они ругались едва ли не каждый раз, когда оставались вдвоем, – Алексей ревновал Еву ко всем, с кем она танцевала или даже разговаривала, а сам то и дело пропадал на полночи вместе с армейскими друзьями, возвращался пьяный и расхристанный, совсем не похожий на блестящего гвардейца, которого Ева полюбила когда-то. Сколько раз она вспоминала дядины слова:

– Ты зря покидаешь семью. Посмотри, мы всегда старались держаться вместе, даже когда разъехались по разным странам. Мой брат что, из каприза женился на твоей тетке? Нет, он знал, что нельзя мешать кровь, нельзя впускать в дело чужих.

– А как же дедушка Натан? – возражала она тогда. – Женился на бабушке Маргарет, взял себе жену из чужих, из англичан, и все равно, я помню, они любили друг друга, жили счастливо, до самой его смерти.

– Маргарет была из хорошей семьи! – кричал дядя. – А твой Алекси – какой-то гвардейский офицер, нищий дворянин из варварской страны. Знаю я этих офицеров! Всю жизнь будешь оплачивать его долги и закрывать глаза на шашни с актрисами!

Про долги дядя ошибся, а про закрывать глаза… откуда же Еве знать, где выпивал с приятелями Алексей? Может, и без актрис не обошлось. Наверно, рано или поздно Ева бы узнала правду, но сразу после Рождества Алексея отправили в поход, куда-то в азиатскую часть Российской Империи, которую Ева и на карте находила с трудом.

Последние дни были наполнены тихой грустью: они понимали, что расстаются навсегда, хотя не говорили об этом. Ева только сказала, что, наверное, вернется в Париж – что мне без тебя делать в Петербурге? – и Алексей кивнул: да, я понимаю.

Так вот они и расстались – и теперь поезд везет Еву к тем, с кем она бурно расставалась два года назад.

Мало ей было тогда дядиных нотаций! Карл тоже посчитал своим долгом принять участие в обсуждении Евиной судьбы.

– К чему, ты думаешь, Старик так напирает на родственные чувства? – сказал он, когда они остались вдвоем. – Где у тебя подходящие для брака родственники? Не сына же кузины Элизабет он имеет в виду? Арчибальду-младшему всего десять, и к тому же Старик этих Темплов терпеть не может. Я думаю, – подмигнул Карл, – он сам не прочь на тебе жениться. Зря он, что ли, так расхваливает выбор моего отца? Мол, Лионель женился на племяннице, а он женится на внучатой племяннице, вот и все. Неплохой, кстати, вариант, ты подумай.

Сейчас Ева сама не понимает, почему тогда пришла в такую ярость, – но орала она так, что сбежались слуги. Вот и получилось, что в один день разругалась и с дядей, и с братом: ничего не оставалось, как ночью бежать с Алексеем, вместо прощания оставив записку, короткую и решительную, как их ссора.

Уже в Берлине, по дороге в Россию, Ева получила письмо от Анны: мол, дядя в таком гневе, что даже запретил упоминать ее имя. Стоит ослушаться – орет, топает ногами и швыряет об пол, что под руку попадется. Расколотил, писала Анна, китайский сервиз, очень красивый и дорогой.

Ева собиралась ответить, но свобода, любовь, путешествие… незнакомая Европа за окнами поезда… весточку она прислала только из России. Я здесь счастлива, милая Анна, писала Ева в варшавском отеле. Поверь, мир очень велик, гораздо больше, чем это может показаться изнутри особняка на рю Сен-Флорантан.

Ева не указала петербургского адреса: сама не знала его, да и хотела прислать большое письмо уже из русской столицы. Но потом… потом Петербург закружил ее, вихрем пронося с бала на бал, с танца на танец, с праздника на праздник – и только через год, зайдя к одной из своих новых подруг, в лежавшем на столике *Le Monde Illustre* Ева прочитала, что у их банка плохо идут дела. Ева не придала этому значения – она знала: дядя умел заставить газеты писать то, что ему выгодно. Ну, значит, решила она, сейчас он хочет, чтобы все считали, будто дела идут неважно. Но еще год спустя, когда Алексей уже уехал в Азию, оставшись одна и собирая вещи для возвращения в Париж, Ева пошла в Публичную библиотеку и прочла обо всем, что случилось. Череда катастроф не оставляла сомнений: на этот раз Барон Джи не блефовал – по всей Европе закрывались конторы, в Италии и Англии банк объявили банкротом, а на Парижской бирже акции упали в три с лишним раза.

Встревоженная Ева написала в Париж – и месяц назад новые жильцы особняка на рю Сен-Флорантан сообщили, что дом продан, а бывшие владельцы отправились в Австрию. Из Венского, одного из немногих сохранившихся отделений банка, Еве ответили, что господин барон с семьей не стали останавливаться в городе, а сразу отправились в горы, где Лионель когда-то построил дом. Уже с дороги Ева телеграфировала, что приезжает, – и вот под ритмичный стук колес она думает, что придется просить прощения за бегство и внезапный брак, да уж, будет неприятно, но дядя, конечно, простит, ведь он-то уж точно ее любит, родственная любовь тем и отличается от романтической, что никогда не проходит, хотя о ней и не пишут романов. Что касается брака… можно будет его расторгнуть, тем более что и венчались они с Алексеем в России, по православному обряду. А Арчибальд Темпл-мл. подрастет тем временем еще на годик, глядишь – и вступит в подходящий возраст, и все пойдет так, как дяде и хотелось, как он замыслил с самого начала.

На железнодорожной платформе Анна бросится к ней, и Ева сразу увидит черный бант, и всё поймет, и зарыдает, обняв кузину. Ее рыжие волосы ярко вспыхнут на холодном перроне – но даже этот свет не в силах будет разогнать тьму, куда уходят те, кто ушел навсегда.

* * *

Эти истории… Представь, что ты стоишь на платформе и мимо тебя медленно-медленно едет поезд. Окна в купе не занавешены, и, пока проезжают вагоны, едва успеваешь рассмотреть пассажиров… ты не знаешь, кто эти люди, кем они приходятся друг другу. Случайные попутчики? путешествующая семья? любовники, сбежавшие в тайную вылазку? друзья, направляющиеся в отпуск? беженцы, туристы, эмигранты? Ты не знаешь, что привело их в эти купе, не знаешь, что их ждет, – но видишь, как сквозняк развевает светлые волосы, мягкие как шелк, текучие как вода… мужская рука накрывает узкую девичью ладонь – жестом любви? утешения? дружбы?.. худощавый очкарик что-то взволнованно говорит высокому красивому парню – друзья? любовники? соперники?.. вздрагивают женские плечи, дрожь пробегает по спине, матово сияющей в вырезе вечернего платья – рыдание? смех? истерика?.. черты прекрасного лица на мгновение застывают гримасой – наслаждение? боль? экстаз?.. сквозь механический лязг доносятся слова, вырванные из беседы, оторванные от своего смысла:…*эпоха умирает*… *все повторяется*… *новый ребенок для нового мира*… жаждать Абсолюта, но отвергать небеса… *химера, фата-моргана, мираж*… – грохот колес заглушает окончание фразы, проплывает последний вагон, ты смотришь вслед уходящему поезду, твоя сетчатка еще хранит загадочные картины, застывшие в оконных рамах… обрывки чужих слов затихают эхом.

Ты неподвижно стоишь на платформе, потом поворачиваешься к своей спутнице… черные волосы траурной волной струятся вдоль бледного лица, тонкие пальцы судорожно сжимают твою кисть, тонкие, бескровные губы едва шевелятся, слабый отзвук, бестелесный звук, еле слышные слова, затухающие в пропитанном гарью воздухе вокзала: *расскажи мне что-нибудь*… – и тогда ты неуверенно произносишь: «Ну, хорошо… представь себе…»

3
1901 год
Покинутые соты

Представь себе мужчину, уже немолодого, лет сорока. Одетого не чопорно – скорее изысканно, изобретательно. Скажем, бархатный жилет и сюртук с увядающим цветком в петлице. Шелковый шейный платок, завязанный пышным бантом. Соломенная шляпа с черной лентой, тонкая трость с набалдашником слоновой кости. Может быть, даже перчатки… белоснежные, как пена прибоя, как снег на вершинах гор.

Впрочем, сэр Эдуард предпочел бы «прибой, белоснежный, как мои перчатки» – что-нибудь в этом духе. Пусть, так сказать, Природа подражает Искусству – хотя бы в том, что касается совершенства белого цвета.

Во всем остальном, если честно, природа, окружающая сэра Эдуарда, вовсе не собирается подражать – ни ему самому, ни его одежде, ни его искусству (если, конечно, в этом случае можно разделить искусство и одежду). Природа Сицилии – избыточна, роскошна, барочна; сэр Эдуард – сдержан, ухожен, холоден.

Настолько холоден, насколько это возможно при плюс тридцати пяти в тени, за полвека до появления кондиционеров.

Сэр Эдуард Грей сочиняет письмо:

Мой милый мальчик, используя слова бедного Оскара – зачем искать своих слов, когда люди лучше и утонченней нас уже сказали всё? – так вот, Оскар говорил, что любит истому жарких дней и ненавидит холод нашей зимы, столь безжалостной и столь определенной, что она дает лишь форму, когда мне хочется цвета, дает лишь ясность, когда мне нужна тайна, да и вообще превращает несчастных людей в красноносых и сизоносых страшилищ.

Видит Бог, Уилл, тебе бы следовало бросить твои дурацкие дела, которые ты придумал себе в Лондоне, и приехать сюда, где вечно синие волны моря разбиваются о скалы, увитые изумрудно-зеленым плющом.

Мы бы стояли вместе на балконе маленького отеля, глядя, как солнце садится в воды Средиземного моря, я бы чувствовал твою руку на своем бедре и снова был бы счастлив.

Впрочем, нет… не следует так писать. Ни слова, ни упоминания о том, что было. Простое дружеское письмо, путевые заметки, которые один старый приятель пишет другому:

Вопреки распространенному мнению, Сицилия совершенно безопасна, а если и дика – то лишь дикостью первозданной природной красоты. Местные жители сдержанней и привлекательней своих шумных соотечественников, живущих по ту сторону Мессинского пролива: вероятно, так сказывается арабская кровь. Там, где неаполитанцу нужно двести слов, сицилиец ограничится десятком. Впрочем, в том, что касается физической красоты, я не возьмусь сказать, кто привлекает меня больше… Хотелось бы мне, милый Уилл, чтобы ты сам мог взглянуть на этих крестьян, исполненных живительной и плотской силы, и составил о них свое мнение.

Впрочем, о чем это я? Тебе ведь надо готовиться к первой брачной ночи, и эти мысли могут тебя отвлечь. Или, наоборот, помогут быть на высоте, когда ты останешься наедине с новоиспеченной леди Макдугл?

О нет, Боже мой, нет! Нельзя так писать!

Насмешка – хорошая приправа для дружбы, но никуда не годный дижестив для любви.

Густой аромат жимолости проникает сквозь раскрытую балконную дверь. Эдуард лежит на простой деревянной кровати, голубоватый дым зажженной папиросы поднима-

ется к стропилам и исчезает в полутьме. С улицы доносится гомон толпы, рев мулов, крики погонщиков.

Эдуард закрывает глаза и представляет мальчика-возничего… как его звали? Мануэле? Франческо? Сальваторе? Прелестный юноша с тонким лицом, неуловимо похожий на танцующие мужские фигуры Черепахового фонтана в Риме, которым они любовались вместе с Уиллом в прошлом году.

Фонтан показал им Генрих, герр Вайсс, немолодой и вульгарный немецкий журналист, встреченный в какой-то траттории. Ведя их за собой по узким улочкам Рима, Генрих потчевал своих новых английских друзей баснями об огромных бриллиантах и разорившихся миллионерах – но в конце концов вывел к фонтану, где четверо юношей танцевали на спинах дельфинов. Конечно, он не преминул рассказать, что фонтан построили за одну ночь, по приказу молодого римлянина, тщетно добивавшегося руки девушки, жившей на площади.

– Какая прекрасная история, – сказал тогда Уилл, – четверо танцующих юношей – как грации с картины Боттичелли! Конечно, наутро девушка согласилась?

– Какая девушка устоит против такого! – усмехнулся Генрих, а Уилл улыбнулся в ответ:

– Хочется верить, что они жили долго и счастливо.

Может быть, он уже думал о женитьбе? – спрашивает себя сэр Эдуард. – Ласкал меня, а сам примерялся то к одной, то к другой лондонской невесте?

Эдуард горько усмехается. Стоило ехать так далеко, чтобы изводить себя мыслями о женитьбе Уилла! С тем же успехом можно было остаться в Лондоне и почетным гостем прийти на свадьбу.

Лучше всего – в женском платье. Выдать себя за подружку невесты.

Наверное, гости были бы скандализированы. Возможно, ему отказали бы от дома. Никто бы не оценил красоты жеста.

Как все изменилось! Еще двадцать лет назад никто не говорил о «любви, которая назвать себя стыдится», никто не называл веселых развратников человеколюбами, отвратительным латинским словом, вульгарным, как почти все, пришедшее из Германии. Тогда Эдуарду и в голову не пришло бы переживать, что его любовник женится, – в конце концов, джентльмен должен жениться рано или поздно.

Наверное, поэтому двадцать лет назад любовники Эдуарда никогда не утверждали, что им омерзительна сама мысль о близости с женщиной.

Никто не тянул Уилла за язык, думает Эдуард, – и слово «язык» влажно поворачивается во рту, отдавая солоноватым вкусом так и не забытых поцелуев.

Вечером Эдуард сидит на кафедральной площади. Каменная чаша фонтана, в центре, на возвышении, черный слон из вулканического туфа, вздыбленный над ним обелиск увенчан крестом в обрамлении ажурных ветвей. Пальма и дуб? Или это олива? Слишком высоко, трудно разглядеть листья.

Эдуард пестует свое горе.

Прохлада вечернего воздуха, терпкий вкус местного вина.

Так сладко быть несчастным в подобные вечера, посреди города, где тебя никто не знает.

Хозяин гостиницы что-то говорил про чародея, чей дух вселился в этот фонтан. Или в слона? Может, в обелиск? Эдуард плохо понимает по-итальянски. Видать, уроки латыни не пошли впрок – дай Бог сейчас вспомнить хотя бы одну строчку Горация, кроме хрестоматийной, про монумент прочнее меди. Зато стоит закрыть глаза – и сразу увидишь крепкие руки мистера Гринока, его сильные пальцы, поросшие чуть заметным золотистым волосом. Сейчас я бы сравнил их цвет с отсветом италийского солнца, сохраненного в языке древних римлян, удовлетворенно улыбается Эдуард.

Хорошая метафора.

На краю каменной чаши сидят оборванные мальчишки. Беззаботная возня, дружеские тычки, надтреснутые колокольчики смеха, ломкие подростковые голоса. Самый красивый, нагнувшись к чаше фонтана, зачерпывает воду и горстью подносит ко рту. Через полчаса быстрые южные сумерки скроют точеные черты его лица, но пока Эдуарду хорошо видны густые брови, полные губы, пронзительные глубокие глаза, гладкая, без единого изъяна смуглая кожа, девственная, еще не тронутая бритвой, не изуродованная порослью усов или бороды.

Мальчик снова зачерпывает воду, влага капает с ладони, и на миг он становится частью фонтана – склоненное чело, поднесенная к устам рука, напряженное юное тело, различимое сквозь прорехи в ношеной, не по размеру большой рубахе. Мгновение – и он выпрямляется, тыльной стороной ладони вытирает губы и что-то говорит соседу по-итальянски.

О чем они говорят? Конечно, о том же, о чем все мальчишки на свете.

Эдуард не помнит, о чем говорил с одноклассниками, когда им было столько же, сколько этим маленьким итальянцам. Обсуждал учителей? Хвастался боевыми подвигами отца? Говорил, что, когда вырастет, тоже станет военным?

Память, не удерживая слов, услужливо подсовывает образы и запахи: мальчишечьи лица, налитые мускулы атлетов в гимнастическом зале, аромат роз в школьном саду, спертая сладковатая духота дортуара, вкус солоноватой кожи на губах, первые объятья.

Наверное, в двенадцать лет он думал, что такой и должна быть мужская дружба. И мысль о том, что кто-нибудь из его товарищей может жениться, вовсе не печалила Эдуарда.

Он и сам пару раз раздумывал о браке. Пятнадцать лет назад все было по-другому. Как они говорили? Жена – для денег и положения, конюх – для удовольствия, мальчик и юноша – для любви.

Как все изменилось! Куда подевались веселые остроумцы, читатели «Желтой книги», куда ушла прелесть тех далеких дней?

Впрочем, как говорил Оскар, вся прелесть прошлого в том, что оно – прошло.

Через пятнадцать лет сицилийские мальчики превратятся в коренастых немногословных мужчин, усатых и усталых.

У каждого будет жена и выводок детей, в прошлом – шумная свадьба в местном соборе, похороны матери или отца, новое извержение Этны, чудесное спасение города или его очередное разрушение. Летним вечером они будут сидеть на этой площади, пить свое вино, курить свои трубки, настороженно глядеть на длинноволосого иностранца в причудливом наряде, привычно скользить взглядом по барочному фасаду, черному слону, южному небу, почти не обращая внимания на стайку мальчишек у кромки каменной чаши, оборванных, юных и прекрасных, таких же, какими они сами были когда-то.

Эти мальчики не знают своей красоты, думает Эдуард, как не знают знойной жаркой красоты южной природы, которая раскрывается только тому, чья жизнь прошла в безжалостном холоде вечной английской зимы. Каждый день они видят ультрамариновую глубь неба, изумрудную зелень плюща, мерцающее серебро олив, колышущиеся гирлянды соцветий – малиновые, сиреневые, фиолетовые – и не замечают их, как мы не замечаем лондонский смог и не слышим грохота кэбов за окном. Люди юга считают естественной красоту окружающего их Божественного творения, не думают, что их Эдемский сад зажат между пустынями Африки и промозглой сыростью севера – узкая полоска на карте мира. А дети не ценят своей красоты, своей невинности, не знают, что им отпущено всего несколько лет – узкая полоска между пустыней иссушающей зрелости и сопливым младенчеством.

Этот остров не знает своей красоты, думает Эдуард. Эти мальчики не знают, что они прекрасны. Для того мы, англичане, и приезжаем на юг, чтобы дать красоте шанс. Ведь то, что никем не увидено, – не существует.

И сейчас, кроме меня, во всем городе нет человека, который бы мог по-настоящему увидеть этот вечер, – и завтра не будет снова.

Сумерки опускаются на площадь, мальчишки превращаются в едва различимые фигуры, трактирщик ставит перед Эдуардом еще один кувшин с вином.

Как обидно, Боже мой, как обидно, думает Эдуард, эти мальчишки – они бесконечно богаты, им дарован самый ценный Божий дар: шаткая, недолгая земная красота. А они не знают этого, и никто не расскажет им. Никто, сдерживая дрожь, не проведет ладонью по напряженным мышцам мальчишеского торса, не прикоснется губами к смуглой горькой коже предплечья, к едва заметным венам хрупкой шеи, к мягкой податливой мочке уха. Никто не прошепчет *ti amo*, не взъерошит черные волосы, не прижмет к груди, не отзовется всем телом на учащенные удары юного сердца.

Если ты даже заставишь себя встать – на виду у всей площади, под взглядами усталых усатых мужчин за соседними столами, – если заставишь себя подойти к фонтану, попытаешься заговорить по-итальянски, прикоснуться, обнять за плечи – нет, даже это не поможет. Твоей жизни, жизни всех путешествующих урнингов Англии не хватит, чтобы объехать все маленькие южные городки, не хватит на короткие сумерки, теплый воздух, детские голоса.

Эдуард думает об ускользающей красоте юных сицилийцев – а мальчишки у фонтана обсуждают смешного иностранца, разодетого как огородное пугало. Он простодушно поводит обиженными глазами, его фигура преисполнена важности, даже стакан с вином подносит ко рту торжественно, словно вершит таинство евхаристии. *Чокнутый придурок*, говорит тот, что постарше. Мальчишечий голос звонко разносится над вечерней площадью. Ну и ладно, иностранец все равно ни бельмеса не понимает.

> Дорогой Уилл, вчера я поднялся на Этну, заночевав в какой-то хижине, на соломенном матрасе, похоже, набитом одними блохами.
>
> Тут надо бы написать, что путешествие того стоило, но я не очень-то в этом уверен. Склоны, покрытые у подножья бурной зеленью, ближе к вершине превращаются в черную пустыню не вполне остывшей лавы с редкими вкраплениями грязного снега. Проводник разрыл землю и почти насильно впихнул мне в ладонь пригоршню теплых камешков. Сначала я подумал, что их нагрело солнце, но, нагнувшись, убедился, что жар исходит из самой земли. Пожалуй, этот момент был самым неожиданным и интересным за всю нашу прогулку.
>
> Таково всякое путешествие к прославленым достопримечательностям: покинув зеленеющие склоны, полные жизни, ты обречен рыться в грязи веков в поисках сокрытого тепла древних времен, возможно, сохранившегося под слоем жирных взглядов американских и немецких туристов, которых возит по свету какой-нибудь Томас Кук. Помнишь, сколь омерзительны были их толпы на пасхальной мистерии в Обераммергау?
>
> Так что Этна оказалась сплошным разочарованием. Огромный конус, возвышающийся над всем местным побережьем, при ближайшем рассмотрении оказался дырой, откуда воняет, словно от прелых прелестей какой-нибудь шлюхи.
>
> Я вряд ли отправлю тебе это письмо, милый Уилл, – ведь только неотправленные письма по-настоящему искренни, и, значит, я могу не лицемерить и спрошу напрямую: как прошла твоя первая брачная ночь? Ты говорил, что даже в доме терпимости не мог быть с женщиной. Интересно, чем удалось тебе осчастливить новоявленную миссис Макдугл?

Впрочем, желаю успехов в твоих супружеских подвигах. Может, воспоминания о ночах, проведенных со мной, придадут твердость символу твоей мужественности, по которому я так скучаю.

Несмотря ни на что, нежно целую тебя.

Мне очень одиноко здесь.

Твой Эдуард

(перебивает)

В начале двухтысячных я жил в Силиконовой долине. Приехал ко мне в гости приятель, и я повез его смотреть Сан-Франциско. Взяли такси, поехали в район Кастро-Мишн. Кругом – радужные флаги, трансы на каблуках, брутальные геи в коже. Приятель посмотрел в окно и сказал:

– Вот ты представь, приезжает сюда какой-нибудь гей из отсталой репрессивной страны. Так он же на все это смотрит – как мы в восьмидесятые смотрели на зарубежные магазины русской книги. Солженицын там, Аксенов, Довлатов…

– Да, – говорю, – такому можно только позавидовать.

Ну, покатались, решили выпить. Рассчитались с таксистом, оставили чаевые. Выходим из машины, а он нам вслед:

– Давайте, ребята, отдохните как следует!

Наверное, принял нас за геев из отсталой репрессивной страны.

Голуби на пустой площади доклевывают рис, присыпанный свернутыми ленточками серпантина. Эдуард подцепляет спиральку концом трости – и через мгновение позволяет ей соскользнуть на плиты мостовой.

– Есть что-то трогательное в этих католических обрядах, не правда ли? – по-французски говорит его собеседник, бледный, высокий и тонкий юноша.

– О да, – отвечает Эдуард. – В прошлом году мне посчастливилось видеть в Риме богослужение в Латеранском соборе. Конечно, религия – лишь суррогат веры, но, вы знаете, красное облачение, красные перчатки, желтая митра – епископ выглядел так по-средневековому зловеще… был так великолепен, что наводил на мысль о гобелене в залах какого-нибудь французского музея.

– Готическое искусство – это и есть подлинный реализм, – отвечает юноша, – а вовсе не картины со страдающими пейзанами, которые в такой чести у моих соотечественников.

Облокотясь о перила балюстрады, они смотрят вниз. Зелень сбегает по склонам горы, несколько рыбачьих лодок замерли на глади залива. Эдуард вспоминает, как в одном из римских соборов они с Уиллом, потрясенные, смотрели на пронзенное стрелами прекрасное тело святого Себастьяна. «Это самый красивый мужчина, которого я когда-либо видел, – сказал тогда Уилл и добавил: – Конечно, после тебя». Сердце привычно сжимается, но почему-то сегодня это воспоминание не вызывает знакомой боли.

– Вам понравилось в Палермо, Николя? – спрашивает Эдуард.

– Очень, – отвечает юноша. – В Палатинской капелле мозаика, подобной которой я не видел даже в Равенне.

Эдуард кивает.

– Вы, наверное, давно путешествуете по Италии?

– Уже полгода, – отвечает Николя. – Знаете, в прошлом веке художники ездили в Рим и Флоренцию…

– Вы художник?

– Я учился на художника, – слегка смущается Николя, – но потом бросил. Господь не дал мне таланта, как и предсказывал отец. Он хотел, чтобы я стал военным, как все в семье.

У Николя вьющиеся волосы, светлые, с рыжиной, немного припухшие губы и еле заметные в сумерках розовые веснушки. Эдуард смотрит в его голубые глаза и говорит:

– Как странно… моя семья тоже хотела, чтобы я стал военным. Мой отец служил в Индии, а брат зятя воевал в Афганистане.

Николя улыбается, нервно и доверчиво:

– Мой дядя тоже… В смысле, в Афганистане, не в Индии.

– Ну да, – смеется Эдуард, – до Индии вы еще не добрались.

– Я был мальчишкой, – продолжает Николя, – и дядя рассказывал про войну. Я толком ничего не понял тогда, какая-то река, какой-то мост, афганцы стреляют, наши солдаты бегут… я только запомнил, он сказал: «Весь мост был завален трупами! Наших всего ничего погибло, а афганцы повсюду лежали! Идешь – и под ногами буквально хлюпает!» Он это говорил с гордостью, а мне стало так мерзко, так противно…ну, и в пятнадцать лет я сказал, что буду художником, а в армии служить не стану.

Ему бы пошла военная форма, думает Эдуард. Прямая спина, стройные ноги, широкие плечи. Он представляет себе Николя в обтягивающих рейтузах кавалериста, в черных начищенных сапогах, разгоряченного быстрой скачкой, пахнущего крепким мужским потом, конской сбруей, свежескошенной травой…

– Вот так я и стал фотографом, – говорит Николя.

Милый Уилл, сицилийское вино бурлит в моей крови, и мысли путаются, но я не могу не написать о чудесной встрече, которую послал мне лукавый сицилийский бог.

* * *

Утром трактирщик сказал, что в нашей гостинице остановился еще один *straniero*. За завтраком – салями с прекрасной глазуньей – мы познакомились. Увидев его, я сразу понял: передо мною человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мои воспоминания о тебе.

Он прелестен, хотя не так уж юн: ему двадцать два. Впрочем, его суждения поражают взвешенностью и жизненным опытом – почти как твои в лучшие минуты. Представь себе пронзительно голубые – как сицилийское небо – глаза, полные губы и нежнейшие волосы, золотистые, как сияние над головами католических святых. Его зовут Николя, и он приехал из России изучать итальянское искусство.

Мы провели вместе весь день, гуляя по Таормине, одному из прекраснейших сицилийских городков. Впрочем, точнее назвать ее деревушкой, раскинувшейся между несколькими величественными соборами и палаццо. Из конца в конец Таормину можно пройти за час – что мы с Николя и проделали несколько раз, заходя в местные трактиры, дабы утолить жажду.

О чем мы говорили? О новом веке, веке новых любовей, рождений и смертей, надежд и разочарований. Веке, который наступил в этом году (или год назад? Помнишь, мы так и не доспорили?), о художниках, поэтах и музыкантах, которых мы оба любим. Мы говорили о Ницше, д'Аннунцио и Вагнере, чей «Тангейзер» приводит Николя в восторг почти религиозный – особенно первая сцена, танцы фавнов и нимф, Леды и Европы, явление Венеры, охраняющей покой спящего героя. Николя рассказал, что в Палермо, в комнате Вагнера до сих пор витает запах розовой эссенции, которой великий композитор душил свое белье.

Николя сказал, что Вагнер некоторое время жил здесь, в Таормине – как наш бедный Оскар и, кстати, сам Ницше, который закончил в этой прелестной деревушке своего великого «Заратустру». Здесь, под южным солнцем, он прозрел явление сверхчеловека – этот немецкий профессор, проведший всю жизнь в холоде и педантизме своего Фатерлянда.

Ты не поверишь, но мне показалось, упомянув Оскара, Николя как-то по-особенному взглянул на меня. Ты знаешь, я не умею определять «настоящих» урнингов – в годы моей юности все было гораздо проще. Если бы ты был со мною – с нами, – ты, наверное, куда лучше понял бы тайный смысл слов Николя (если, конечно, у них был тайный смысл).

Ночью мы поднялись в комнату Николя: он обещал показать фотографии (забыл сказать, мой новый друг – фотограф, он путешествует по Италии, фотографируя места, где останавливались художники, которым он поклоняется). Ты помнишь, когда-то я презирал фотографию как жалкую попытку подражать Природе – но глядя на изображения, сделанные Николя, я подумал, что через алхимическое волшебство серебряной амальгамы и преломляющих свет линз Природа может приблизиться к Искусству.

Однако оставим этот разговор салонным эстетам. Лучше вообрази себе комнату в итальянской гостинице: маленькую, в меру грязную, еле освещенную одной-единственной свечой. Мы склонились над столом, где разложены, как называет их Николя, карточки. Наши тела соприкасаются, и моя рука несколько раз поднималась, чтобы опуститься на его плечо, – но вотще! Не поверишь, я боялся оскорбить моего друга. К тому же я слышал, русские страшно обидчивы и до сих пор сохраняют представления о «чести», присущие XIX веку.

Впрочем, что может быть прекрасней смерти на дуэли у подножья величественных гор? Полдневный жар, мое недвижное тело, капля за каплей сочится кровь, кругом теснятся уступы скал… но довольно! Видать, сицилийское вино ударило мне в голову, вызвав столь вульгарные картины.

Как ты уже догадался, ничего не произошло. Мне не удалось добавить юного русского к моей коллекции (о, ты не отказал бы себе в этом удовольствии!), он остался у себя, я вернулся в свою каморку, где, пытаясь заснуть, сочиняю тебе письмо.

Сегодня мы видели сицилийскую свадьбу. Молодых осыпали рисом и свернутыми бумажками. Во всем была какая-то варварская – и католическая – трогательность, но упаси меня Господь оказаться в смешной и унизительной роли человека, дающего у алтаря клятву на пару с женщиной. Деверь моей сестры Чарльз говорит «женщины врут, как афганцы, заключившие перемирие» – хотя, ты знаешь, я всегда находил женщин по-своему прекрасными.

Передавай привет твоей молодой жене. Уверен, она прелестна – у тебя слишком хороший вкус, чтобы я заочно не доверял сделанному тобой выбору.

Твой Эдуард

P. S. Кстати, дядя моего Николя, похоже, пятнадцать лет назад побывал в той же афганской заварушке, что и Чарльз, – с другой, разумеется, стороны. В этом смысле наша встреча должна что-то означать – но я выпил слишком много вина и не могу понять, что именно.

Эдуард засыпает – а за окном, калачиком свернувшись у подножья дремлющей Этны, засыпает Таормина. Пенные волны поднимаются и опадают, словно кружевное одеяло, колеблемое дыханием; галька на пляже шуршит тихим шелестом снов, на цыпочках приходящих ко всем, кто устал за день.

Эдуард спит – и с каждой минутой все дальше соскальзывает в прошлое, в уходящий век изысканной скуки, декоративного ориентализма, неспешных путешествий. Там, в глубине его сна, лорд Байрон, Джордж Браммел, Барбе д'Оревильи и Бодлер фланируют по улицам исчезающих городов, изысканные и холодные, исполненные колкого остроумия и небрежных парадоксов. Они пропадают в тумане сна, и их города тоже исчезают, уходят в прошлое, тают, проходят, как мальчишеская красота. Время поглощает их, как стремительные южные сумерки – очертания пальм и олив.

Эдуард спит и не знает, что через сто лет скоростные поезда и трансатлантические самолеты довершат начатое Томасом Куком и сделают вульгарным любое путешествие. Вся-

кий клерк будет мечтать провести две недели отпуска там, где когда-то жил его любимый художник, музыкант или поэт. То, что было изысканным удовольствием для эстетов, станет банальным развлечением для туристов. Тиражи путеводителей взлетят до небес, а надгробный памятник Уайльда будет зацелован так, что его придется спрятать под стекло, дабы уберечь мрамор от губной помады.

Эдуард спит, а XX век шуршит галькой, волной набегает на пляж – шумный, вульгарный, подчиняющий природу и низводящий искусство до ярмарочного балагана, циркового представления, шествия дрессированных зверей…Чумазые мальчишки, сидя на краю мраморной чаши, свистят и улюлюкают: они требуют клоуна, настоящего клоуна, с роскошным бантом, в бархатной жилетке, в соломенной шляпе, со смешной тросточкой. Клоун важно выходит на арену – спотыкается и падает под радостный хохот публики. Слезы фонтаном бьют из накрашенных глаз – но ему не больно, конечно же, совсем не больно.

Мой дорогой Эдуард!

Я не стал будить Вас и поэтому записываю слова прощания, вместо того чтобы произнести.

Наша встреча взволновала меня. Полночи я не мог уснуть: мне казалось, мы должны немедленно продолжить наш разговор. Я порывался вскочить и найти Вас – и застывал в ужасе при мысли, что мы можем разминуться.

Утром я проснулся с больной головой – да-да, у русских тоже бывает похмелье! – и вспомнил, что обязательно должен быть завтра в Катании, где меня ждет судно, с капитаном которого я договорился еще в Палермо. Поэтому в спешке я упаковал свой нехитрый скарб и теперь покидаю этот прекрасный город, который подарил мне радость встречи с Вами.

Надеюсь, Вы простите мой отъезд, так похожий на бегство.

Искренне ваш, Николай Шестаков

P. S. До отплытия я обязательно взгляну на фонтан со слоном, о котором Вы столько говорили. А Вас я умоляю не забыть о греческом театре, куда мы так и не добрались.

P. P. S. Надеюсь, трактирщик передаст Вам это письмо – не то гореть ему в Аду, горячем, как лава его родной Этны.

*** * ***

Мраморные скамьи амфитеатра поросли травой. Когда-то здесь умещались тридцать пять тысяч зрителей. Жарким июньским полднем 1901 года сэр Эдуард, лорд Грей, абсолютно один здесь – если не считать бутыли вина, почти опустевшей.

Солнце слепит глаза. В проеме между античными колоннами, словно взятый в раму, сверкает залив. Безграничная морская даль, золотые пески побережья, не осквернённые ни шезлонгами, ни зонтами от солнца. Пройдет полвека – новая волна знаменитостей захлестнет Таормину, а следом – волна за волной – любопытствующие и туристы, привлеченные не Вагнером, Ницше и Уайльдом, а Элизабет Тейлор и Авой Гарднер. Старая Таормина исчезнет навсегда – как денди XIX века, как мимолетная красота сицилийских подростков, – исчезнет, сохранив лишь название, соборы и палаццо. Останется слово на карте – но не будет больше деревушки, где английский лорд и неудавшийся русский художник разыграли на двоих декадентскую драму неслучившейся любви.

Но и тогда, как две тысячи лет назад, будут золотиться пески прибрежных пляжей, синеть и сверкать на солнце Средиземное море и вздыматься, заслоняя полнеба, дремлющая Этна, даруя иллюзию, что не всякая красота быстротечна.

Солнце слепит глаза, Эдуард вытирает слезы батистовым платком с монограммой. Они говорили о смерти Уайльда, и он сказал:

– Когда погибает художник, бывает очень тяжело.

– Есть люди – художники жизни, – ответил Николя, – их гибель не менее тяжела.

Фотографы, думает Эдуард, и есть художники жизни. Они берут жизнь такой, как она есть, пропускают через линзы своих аппаратов и дают осесть на покрытых серебром стеклянных пластинах. Так застывает мимолетная красота, так сквозь декорации жизни проступает вечность, скрытая, как тепло лавы под слоем пепла.

Николя показывал на фотографиях дом, где жил Вагнер, гостиницу, где Ницше написал «Заратустру», – пустые соты, покинутые медоносными пчелами. На карточках – неподвижные пейзажи и смазанные смутные тени прохожих, словно призраки тех, кто жил здесь до нас.

Эдуард воображает фотографию кафедральной площади Катании: черный слон с хоботом, чей изгиб повторяет изгибы двух белых бивней. Обелиск огромным фаллосом устремлен в небо. Полупрозрачные силуэты на краю фонтана, там, где сидят мальчишки.

Это – памятник Эдуарду, *monumentum aere perenius*.

Он комкает в руке прощальное письмо Николя. *Я порывался вскочить и найти Вас* – но не вскочил, не нашел.

Оно и к лучшему: только неслучившееся по-настоящему подлинно.

Древние развалины расплываются перед глазами. Белоснежные колонны, резные капители, руины, величественные, обветшалые, немые свидетели античных времен. Эдуарду кажется: едва различимые тени, словно призраки с фотографий Николя, мелькают, вьются над ступенями амфитеатра.

Стоит закрыть глаза – они обретут плоть. Мускулистые тела атлетов, борцы, слившиеся в напряженном объятье, седой мужчина опирается на плечо юноши, почти мальчика. Густые брови, полные губы, глубокие глаза, гладкая, без единого изъяна смуглая кожа. Юноша смотрит на мужчину с почтением и любовью, внимая его словам:

– Храни любовь в сердце своем. Жизнь без нее подобна бессолнечному саду с мертвыми цветами.

Люди древности, думает Эдуард, обладали иной душой: они любили прекрасное, они были открыты настоящей любви. Любовь, знакомая нам, – только слабый отзвук древней любви, тепло остывающей лавы, когда-то раскаленным семенем извергнутой в этот мир.

На горячих ступенях разрушенного амфитеатра Эдуард повторяет одними губами:

– Это был рай. Эдем. Эдемский сад.

Мужчины, юноши и мальчики бродили по его тропам, грелись на его солнце, искали прохлады в тени его дерев. Так было, пока Ева…

Впрочем, там не было никакой Евы! Ни Евы, ни Лилит.

А древо познания? Древо познания – было?

Да, понимает Эдуард, древо познания было. Оно и сейчас установлено в каждой церкви христианского мира. Признанное священным орудие древней пытки – *Santa Croce*, святой крест.

Девятнадцать столетий назад мужчины вкусили запретный плод – тело и кровь Христову. Вкусили – и были изгнаны из Рая, лишены любви.

Те, кого мы любим, покидают нас, потому что мы не можем их удержать. Потому что деньги, слава, мирская тщета – сильнее любви. Все еще сильнее.

Горячее солнце ласкает Эдуарда, тепло нагретых ступеней вливается в его кровь.

Но мы можем вернуться! шепчет он. Отравленный плод, запретный фрукт съеден слишком давно. Яд утерял силу, распался в наших жилах. Вино и облатка – это не кровь и плоть. Чуда пресуществления больше не происходит: мы не верим в него. Мы очистились

от проклятия, а если даже не мы, то мальчики, обнимающие друг друга в душной темноте дортуаров, – они точно очистятся.

Врата Эдема откроются: нужно лишь набраться смелости и войти. Вот оно, начало нового века! Уилл был прав, век начался 1 января 1901 года. Бедный Оскар, раздавленный лицемерием и ханжеством, не дожил всего месяц. Если бы он знал то, что открылось мне сегодня, он, возможно, нашел бы силы жить дальше.

Эдуард засыпает. Измученное тело прижимается к теплым ступеням – и вот из лесов, вскормленных вулканическим пеплом, выходят нимфы, сатиры и фавны – играют на свирелях, стучат копытцами по древним камням, танцуют, убаюкивают, водят хоровод… тончайшие балетные па, сходящиеся и расходящиеся пары, тихий шепоток танцующих, признания в любви, ворчливые жалобы, горькие слова расставания и разрыва.

Пролетает Эрот, колчан полон стрел, одну за другой он выпускает их в спящего мужчину, в нового святого Себастьяна. Стрелы вонзаются в плоть – и каждая стрела несет любовь, исцеление, избавленье от печалей.

Лебедем выплывает Леда, прекрасной буйволицей проходит Европа, спускается Афродита – увитая цветами, словно сошедшая с полотна Боттичелли. Не вульгарная Афродита Пандемос, нет, божественная, перворожденная Афродита Урания, Афродита урнингов. Наклоняется над спящим, увивает его чело цветами, целует в лоб.

И во сне Эдуард замирает на краю вулкана и видит распростертый у ног город, видит, словно прозревая сквозь пространство и время. Сонмы прекрасных мальчиков толпятся на площадях, пьют воду из фонтанов, смеются и дурачатся, – и вот распахиваются двери, на площадь неспешно, как в театре, выходят денди – изысканные, утонченные. Они обнимают мальчиков за угловатые плечи, ведут за собой по шатким лестницам, в душный покой запертых комнат – и, стоя на вершине, Эдуард видит всё: объятия и поцелуи, обнаженные торсы, сплетенные тела, полураскрытые губы и вздыбленные фаллосы. Сквозь время и пространство он видит миллионы тел – в едином объятии, в преддверии финала, экстаза, единого мига – мига вне времени и пространства.

Уста исторгают стон – и за спиной огненным салютом взрывается Этна. Ночное небо вспыхивает фейерверком, Эдуард кричит, и врата Эдема распахиваются под этот многоголосый, стократно усиленный крик.

По ту сторону – город на берегу залива. Улицы карабкаются по склонам гор, играет странная, незнакомая музыка. Эдуард – в ликующей толпе, и вот его спутники – Оскар, Уилл, Николя; одноклассники, друзья, любовники; мужчины, которых он видел один раз в жизни, чьих имен не запомнил, – они идут, осененные радужными флагами, по праздничным улицам, смеются, дурачатся, обнимают друг друга, а над городом плывет колокольный звон, в воздухе летает конфетти и серпантин, и Эдуард следом за друзьями и любовниками повторяет слова клятвы – вместе, вместе в горе и радости, и смерть, даже смерть, не разлучит нас.

* * *

Ты поднимаешь голову от книжки – и замираешь. Взгляд останавливается на девушке напротив: прямые черные волосы падают на лицо, точно струи дождя или порывы ветра, нарисованные резкими движениями пера на старой – из детства – романтической иллюстрации. Большие глаза полуприкрыты, ресницы чуть вздрагивают. Она спит, дремлет, мечтает. Ты понимаешь, что никогда не видел такой красавицы, – и тут замечаешь ее соседку, тонкокостную рыжеволосую студентку с открытым учебником на коленях. Белая кожа словно светится изнутри, а веснушки – как дырочки в занавесе, сквозь которые бьет солнечный свет. Переводишь взгляд дальше, на крупную, смуглую, почти чернокожую женщину: густые брови, полные губы, широкие скулы… крашенные в ненатурально белый, суперблондини-

стый цвет волосы. На коленях – трехлетний малыш, прижимает к себе пушистого плюшевого слоненка неправдоподобно розового цвета, с мягкими бивнями и загнутым кверху хоботом, вместо глаз – синие пуговки, ребенок заглядывает в них, разговаривает беззвучно.

Стоит пожилой мужчина, почти старик, короткая стрижка, седые волосы, сухая кожа. Проницательный взгляд профессионального наблюдателя. Резкие черты лица, будто с афиши старого фильма. Рядом с ним – худощавый парень в очках, под которыми его пушистые ресницы еще длинней, мягкая, почти женская линия губ, детская округлость щек… трогательный, нежный, такой молодой…

Ты озираешься: люди в вагоне красивы как на подбор, словно пока ты читал, кто-то (Кто-то?) подменил всех пассажиров. Молодые и старые, мужчины и женщины, европейцы, азиаты, негры – все возраста, все расы, все цвета кожи… они замерли в покачивающемся поезде, застыли в рапиде наведенного на них взгляда, затаили дыхание в кратком мгновении случайного совершенства, в бесценном подарке мимолетной красоты.

4
1910 год
Всё гибнет

Он смотрит на бурные воды, несущиеся под мостом. Так проходит любовь. Он снимает шинель, перекидывает через перила, смотрит вниз, на Сену, встревоженно и пристально – как три года назад, когда горожане смотрели на волны, что привыкли плескаться у самых ног каменного зуава, но с каждым днем поднимаются все выше и выше – по пояс, по грудь, по шею…

Той зимой Валентину исполнилось девятнадцать. Впервые он отмечал день рождения не дома – впервые без матери и отца, без приезжавших в Москву саратовских родственников, без общегородской предрождественской суеты, в которой терялся его личный маленький праздник.

Здесь Рождество опережало его день рождения на полторы недели. Орехи уже были найдены детворой в деревянных сабо, ангелы и шары укутаны в папиросную бумагу, а погрустневшие рождественские елки вынесены прочь из квартир по черным лестницам османовских особняков.

Теплый и бесснежный, наступил Новый, 1910 год – 1 января бульвары и площади кипели людьми, радовавшимися прекрасной погоде. В толпе Валентин встретил Саркиса, молодого инженера из Эривани, вот уже полтора года учившегося в парижской Политехнической школе. Как положено студенту, Саркис снимал мансарду в Латинском квартале и пригласил заходить в любое время, по-свойски – как-никак соотечественники. Валентин за два месяца так и не обзавелся в Париже друзьями – и потому 4 января – 22 декабря по привычному календарю – он поднимается по узкой скрипящей лестнице, вдыхает запахи чужого жилья и считает этажи, стараясь не сбиться. Пятый парижский, он же – шестой русский, правая дверь. Валентин несмело стучит – и громкий голос Саркиса с немыслимым акцентом возвещает:

– *Entrez*!

Валентин толкает дверь – э, да здесь целые хоромы! Комнатка Валентина в пансионе мадам Сижо раза в три меньше, кровать, стул да рукомойник – вот и все убранство. А у Саркиса даже есть отдельная гостиная – оттуда он и выходит, в барском халате, этакий восточный Обломов, не хватает разве что трубки с длинным чубуком… а еще из-под полы халата выглядывают нелепые полосатые чулки.

– А, Валентин! – восклицает Саркис, распахивая щедрые объятия, – заходи, брат, мы уже почти закончили, сейчас ужинать пойдем!

Валентин скидывает шинель – похоже, Саркис не бережет угля, в комнате жарко, словно на дворе лето. За косым окном закатный луч зимнего солнца на секунду покрывает сусальным золотом свинцовую парижскую крышу на противоположной стороне улицы.

В дверях гостиной Валентин сталкивается с мужчиной лет тридцати, одетым модно, даже изысканно. Есть же люди, которые на сущие гроши умеют одеваться как денди! Впрочем, внимание прежде всего привлекает не его наряд, а продолговатый предмет у него на плече, закутанный в черную ткань. Мужчина бросает на Валентина настороженный, испуганный взгляд.

Не бомбист ли? – думает Валентин. – Не революционер ли заговорщик? Не оружие ли несет?

Мужчина буркает под нос *excusez-moi* и протискивается к выходу. Посторонившись, Валентин успевает заметить мелькнувшую в распахе черного покрывала полированную

деревянную ногу – словно на мгновение представшая любопытному взору женская ножка, туго обтянутая чулком.

Фотографический аппарат! А я-то уж было подумал!

Входная дверь захлопывается, Валентин поворачивается к гостиной. На этот раз в дверях стоит голый по пояс юноша. Вокруг бедер – что-то вроде полотенца, на ногах – такие же полосатые чулки, как у Саркиса, но полоски вертикальные. Юноша напрягает то левый, то правый бицепс, радуясь производимому впечатлению. В самом деле, напоминает борца на цирковой арене – и роскошные закрученные усы довершают сходство.

– Не смущайся, – подмигивает юноша Валентину, – сейчас оденусь.

На колченогом стуле лежат рубашка и пиджачная пара. Юноша отбрасывает полотенце, и Валентин, отведя смущенный взгляд от округлых ягодиц, наконец входит в гостиную.

Через три года Сена будет бурлить под мостом – и, свесившись через перила, Валентин вспомнит: вот так он впервые увидел Марианну.

Уже тогда она была ослепительна. Позже многочисленные поклонники, корчащие из себя поэтов, будут говорить о совершенстве ее форм, о теле, будто высеченном резцом Праксителя, о белоснежной коже, довершающей сходство с чудом пережившей века античной статуей, – но в тот, самый первый раз Валентин запомнил только лицо.

Само по себе удивительно: Марианна была обнажена, а Валентин никогда прежде не видел нагой девушки – по крайней мере, так близко. Она стояла спиной к двери и натягивала чулок на левую, еще полуголую ногу. Тонкая щиколотка уже скрылась под серой шерстью, но полноватое бедро сверкало отраженным светом газового рожка. Заслышав шум, Марианна обернулась через плечо.

Ярко накрашенные губы, чуть приоткрытые в полуулыбке. Большие серые глаза в обрамлении длинных подрагивающих ресниц. Бледная кожа высоких скул, не тронутая румянцем – ни возбуждения, ни смущения.

Секунду она глядит ему прямо в глаза: равнодушно, скучающе. Так смотрит девочка-подросток: она только что разорвала обертку последнего рождественского подарка и убедилась, что и на этот год родители ничем не удивили и не порадовали. В ее взгляде – детская невинность и взрослая пресыщенность, под этим взглядом Валентин замирает безмолвно, а Марианна отворачивается и возобновляет возню с подвязкой.

– Меня зовут Кинэт. – Легкий удар по плечу выводит Валентина из оцепенения. Юноша уже одет, клоунские чулки перекинуты через руку, и даже… нет, это уже совсем невероятно!

– Ваши усы… – в замешательстве говорит Валентин, – вы их сбрили?

Кинэт смеется, и хохот Саркиса вторит из глубины комнаты.

– О нет, это только грим! – Молодой человек протягивает руку: усы мертвыми насекомыми лежат на ладони. – Я же не хочу, чтобы меня узнавало на улице пол-Парижа!

– И кроме того, – Саркис тоже успел одеться, – мы стараемся сделать вид, что это старые фотографии – восьмидесятых, девяностых годов. За последние два года они здорово взлетели в цене – спасибо префекту полиции!

– Да уж, чертов кобель Лепен прошерстил всех букинистов и антикваров вплоть до самых предместий. Старых добрых картинок теперь днем с огнем не сыщешь, – кивает Кинэт и добавляет: – Нет ничего хуже, чем полицейское лицемерие на службе церкви и буржуазии.

Уже во втором баре они забыли, что отмечают день рождения. На третьем кувшине красного заговорили о грядущей войне.

– Многие считают, что войну невозможно предотвратить, – провозгласил Кинэт, – но я убежден: если мы определим, кто те два или три человека, которые больше всех содействуют войне в Европе, мы сможем их устранить.

– Фу, – морщится Саркис, – покушения. Убийства. Фу.

– Убийства отвратительны тебе, дорогой друг?

– Как и любому человеку.

– А война?

– Тем более!

– Ближайшая война убьет, быть может, миллион человек. Пожертвовать двумя или тремя жизнями для спасения миллиона…

– Не слишком ли ты преувеличиваешь значение отдельных личностей? – говорит Валентин.

– Оставим метафизику философам! Ответь мне лучше: допустим, в июле 1870-го убиты одновременно Наполеон I и Бисмарк. Ты считаешь, от этого ничего бы не изменилось? Отвечай!

Кинэт стукает кулаком по столу. Кувшин опрокидывается, вино капает на опилки пола, красное, словно кровь грядущих битв.

Ближе к полуночи они приходят в «Клозери-де-Лила». Валентин здесь впервые: человек сорок более или менее сгруппированы за столами, но переговариваются от стола к столу. Шумно и накурено, как в обыкновенной зале, однако в воздухе витает непривычное возбуждение. Посетители самого разного возраста и стиля, различные костюмы, щегольские и оригинальные: цветные жилеты, простые пиджачные пары дополнены пестрыми галстуками. Мало женщин и ни одной действительно красивой. Во всяком случае – такой красивой, как Марианна.

За соседним столом – кофейные чашки, пивные кружки, две или три рюмки водки – обсуждают предстоящие слушания в Национальной ассамблее: речь идет о секуляризации школ.

– Это должно окончательно закрепить отделение церкви от государства, – говорит рыжеволосый молодой человек. – Позор, что для этого понадобилось почти пять лет!

Разговор переходит на «Меркюр де Франс», потом на Жоржа Сореля («Высмеивать демократию, парламентаризм, стариков-дрейфусаров – все это очень мило… Но ради чего?»). Валентин в свое время слышал про Дрейфуса, но так и не понял, в чем там было дело, и потому слушает вполслуха, высматривая среди завсегдатаев молодого испанского художника, о котором рассказывали еще в Москве. В «Клозери» Валентин немного не в своей тарелке, так что даже не замечает, когда Кинэт растворяется в толпе гостей.

Все это время Саркис, не переставая оглядывать зал в поисках знакомых, рассказывает о гидравлических помпах и системе парижских дамб:

– Еще в начале прошлого века Париж то и дело затапливало. Но последние пятьдесят лет тут не было ни одного наводнения! Вот что значит сила инженерной мысли!

Валентин кивает, почти не слушая: отец всегда хотел отдать его в инженеры. Правда, устройство канализации и улучшенная конструкция мостовых пролетов занимали полковника Шестакова в последнюю очередь: он поверил в инженерную мысль после знакомства с британским пулеметом «максим». Нам повезло, говорил полковник, что на Кушке у них не было этой штуки, – хрен бы мы тогда перебрались через тот мост!

Рассказы об орудиях убийства не слишком вдохновляли Валентина: сам он склонялся к юридическому поприщу. После гимназии с трудом выпросил себе полгода в Париже – видать, отец надеялся, что здесь, в Городе Света, его Валя проникнется идеями прогресса, а Валентин, конечно, мечтал о разгульной парижской жизни, той самой, о которой, хихикая, шептались гимназисты. Там, в Париже, говорили они, девушки почти все готовы… ну, это самое… и не только шлюхи, но даже порядочные!

Реальность оказалась куда грустней – идет уже третий месяц, а Валентину не только не удалось завести никакой интрижки, но даже двери борделей оставались для него закрыты. Будь у него верный друг, какой-нибудь проводник по злачным местам Парижа, Вален-

тин бы, может, и рискнул зайти с ним в один из борделей восьмого или девятого округа, а то и в «Белый цветок» или даже в знаменитый «Шабанэ», роскошный и безумно дорогой… но при одной мысли, что ему придется объясняться со швейцаром или с мадам, ладони юноши покрываются липким потом. Черт, он даже не знает, что нужно сказать, зайдя в такой дом!

В глубине души Валентин надеется на чудо: в Париже уже пять лет живет его кузен Николай, сын папиного брата Ивана Михайловича. Похоже, живет той самой развратной жизнью, о которой грезит Валентин, – во всяком случае, при одном упоминании имени Николая родные поджимали губы и переводили разговор на другую тему. Разумеется, о том, чтобы дать Валентину адрес, и речи не было – отец даже намекнул, что было бы лучше, если молодые люди случайно встретятся, сделать вид, будто они незнакомы, – и надежда на эту случайную встречу согревала Валентина промозглыми парижскими ночами.

Простившись с Саркисом, Валентин возвращается домой, в пансион мадам Сижо. Свет фонаря выхватывает из темноты афишную тумбу. Еще одна голая женщина. Под предлогом прославления какого-то коньяка опять извивы, пылание розовой плоти. Снова легкая драпировка, обнажающая грудь с соском, ласкающая зад, сливающаяся с тенями на животе.

Нельзя же нарочно сделать так, чтобы не видеть афиш? По счастью, есть река, отражение огней в воде, спокойствие черной воды; памятники во мгле. Ах, тем лучше, что они во мгле. Снова были бы видны по всем углам, на решетках, в нишах лицемерно задрапированные красавицы. Сад Тюильри – сонмище голых женщин. Кто-то позаботился, чтобы ты ни на миг не забывал о грудях и ягодицах, о дурманящем обаянии красиво изогнутой плоти. Даже ставя памятник какому-нибудь министру, парижане делают подножие из голых женщин.

Валентин думает о вступлении войск в завоеванный город. Отец о таком никогда не рассказывал, но все и без того знают, что творится на войне. Изнасилование не санкционировано в приказах. Но начальство закрывает на него глаза.

Он думает о народах, чьи нравы допускали оргию, о приапических таинствах, о сатурналиях, о шабаше в средневековые ночи… о ленивом взгляде серых глаз Марианны, о безбрежном сладострастии Мессалины, о страстных, неутомимых любовницах, способных выпить мужчину до дна, изнурить, иссушить его…

Но нет, разве безудержный жестокий разврат нужен ему? Валентин гонит грязные мысли – нет, он мечтает о простой девушке, чистой и неискушенной, вместе с которой он познал бы таинства плоти. Нежная и нетронутая, она прошла через свои восемнадцать лет, чтобы встретить Валентина и, полузакрыв глаза, соскользнуть в пропасть наслаждения.

Мне девятнадцать, думает Валентин, а я все еще не познал женщины! Есть ли в Париже хотя бы один такой же неудачник?

Горькая улыбка кривит губы. Женщина в подворотне – высокая прическа, затянутая талия, вздувшаяся юбка – окликает его, и Валентин ускоряет шаг.

Вода в реке начинает прибывать.

Он встретит Жанну через две недели. Кофе со сливками в утренней кондитерской, занятый своим делом официант, посетительница, тщетно взывающая о круассане. Валентин, оставив свою чашку, обходит толпящихся посетителей и, протянув руку из-за спин, завладевает корзиночкой с парижскими рогаликами и с улыбкой протягивает ее девушке.

Не слишком высокая, не слишком низенькая. Несомненно, стройная. Хорошая парижская девушка, белокурая как ангел – не из тех, что никогда не будут твоими, не из тех, что созданы для мужчин, кто красивей, сильнее, богаче тебя.

Чудесная непринужденность. Выйти вместе и обнаружить, что нам – ах, совсем случайно! – по пути. Она живет с родителями в Жавели, а в кондитерскую зашла, потому что не успела выпить кофе дома, боясь опоздать на работу. Где работает мадемуазель? О, она

прислуживает в одном почтенном семействе, на Елисейских Полях, уже несколько лет. Помогает кухарке и иногда играет с маленькой дочуркой хозяев. У нее самой трое младших братьев и две сестрички, уж она-то понимает толк в малышах! Ей повезло найти такую работу! Очень приличная семья, хотя и иностранцы, как и месье. Кстати, откуда месье приехал в Париж?

Девушку зовут Жанна, и на прощанье они договариваются встретиться снова – нет, не сегодня, а завтра вечером, в полседьмого, вот здесь, на углу.

О, эти часы, отделяющие нас от первого свидания! Наполненные волнением, ожиданием, тревогой, грезами… Как мне следует одеться? О чем мы будем говорить? Не покажется ли смешным мой французский, не режет ли слух мой акцент? А что я делаю в Париже? Ах, если бы я был студентом, как Саркис! Может, соврать? Сказать, что я учусь в Политехнической школе, и поведать про помпы и дамбы? Или нет, лучше скажу, что семья послала меня найти кузена Николя, который уже несколько лет не отвечает на письма. Так я буду выглядеть почтительным сыном. Или, наоборот, безвольным маменькиным сынком, спешащим выполнить любые распоряжения родителей?

Сказать ли, что отец – военный? Или я буду выглядеть как дворянский сынок, приударяющий за доверчивой субреткой? О семье лучше, наверно, вообще ничего не говорить.

А если она не придет? Сколько минут надо ждать? Пятнадцать? Полчаса? А если ее задержат хозяева? Надо узнать, где они живут на Елисейских Полях, чтобы я мог прийти и спросить… нет, это, конечно, невозможно, хозяева будут недовольны, если к их служанке начнут шастать молодые люди.

Но все равно: лучше узнать адрес.

Валентин представляет: после свидания он провожает Жанну до метро или, может быть, даже до родительского дома – и по пути их караулит банда апашей. Ужас всего Парижа, словно сошедшие с картинок *Le Petit Journal*: кепка с длинным козырьком, фланелевая рубашка с большим воротником, парусиновые туфли, платок на шее, нож в руке. Пятеро. Прохаживаются, засунув руки в карманы, со скучающим видом – а на самом деле ждут, когда мы поравняемся, чтобы облапать Жанну – или того хуже!

Валентин уже забыл, как совсем недавно представлял себя солдатом, которому на растерзание отданы все парижанки, – теперь он спаситель, святой Георгий, поражающий змия похоти, выползающего из темных закоулков социального дна, куда еще не проник свет просвещения.

Первое свидание… можно ли поцеловать Жанну на прощанье? Каким должен быть поцелуй? Дружески прикоснуться к розовеющей щеке – или решительно впиться в пламенеющие губы? А потом… если, конечно, будет «потом» – на втором, на третьем свидании… когда можно пригласить ее к себе? В какой момент сладкие грезы сменятся страстными объятиями?

Валентин вспоминает, как однажды во время ночных скитаний увидел в освещенном окне полуодетую женщину. Вокруг нее суетился любовник. Став на колени, он распускал тесемки, целуя нагое тело. На миг Валентин представил, что в каждом окне, за каждой задернутой шторой происходит то же самое: много тысяч таких комнат, и ни в одной из них его нет.

И вот теперь, в мечтах, он проделывает с Жанной все то, что столько раз воображал; в сладких грезах повторяет каждый поцелуй, каждый жест сотен тысяч парижских любовников. Он представляет их объятия, представляет головокружительный миг любви, и ему кажется, что в момент экстаза он увидит весь город, весь большой Париж, с его кафе и синематографами, барами и борделями, ажурными станциями метро и роскошными отелями, увидит всех мужчин и женщин, охваченных вожделением, страстью, похотью; сплетенные тела, прерывистое дыхание, выкрики на французском, английском, русском, на всех языках этого Вавилона. И с последним вскриком все исчезнет, растворится Париж, пропадет, будто

и не было, – останутся только они с Жанной, прилипшие друг к другу, спаянные последним объятием, замершие в бесконечном мгновении наслаждения, единения, счастья…

Они действительно встретились. Жанна не опоздала, и он проводил ее до метро. Апаши по дороге не попадаются – возможно, потому, что часть улиц залита водой и приходится идти, лавируя на шатких мостках или переходя мостовую вброд. Юбка Жанны намокла и липнет к щиколоткам, в ботинках у Валентина хлюпает – но эти испытания не столь драматичны, как воображаемое нападение, и потому Валентин выбирает скромный поцелуй в щеку. Прощаясь, он предлагает как-нибудь поужинать вместе. Дабы не показаться излишне навязчивым, облекает свое предложение в форму дерзновенной мечты и от волнения и галантности путается в сложных временах французских глаголов.

Жанна полагает предложение очень милым, на миг призадумывается и объявляет, что, по всей вероятности, «это можно будет устроить». Она скажет родителям, что мадам Лертон попросила ее задержаться, а сама отпросится у хозяйки. Да, мадам очень добра к ней. И неудивительно – Жанна ведь работает у нее уже четвертый год. Им столько пришлось пережить вместе, вы даже не представляете, месье Валентэн!

Не в силах остановиться, Жанна тут же рассказывает о том, как три года назад толпа рабочих запрудила Елисейские Поля. Полиция ничего не могла поделать: они прикинулись, что просто гуляют! Многие были со своими женщинами и даже с детьми. Но они не просто так прохаживались – они ломились в дома. Наш консьерж, месье Жиль, пытался их не пустить, но куда там! Ворвались во дворик и ну плясать! Плясать и петь «Карманьолу»! Хорошо еще, что мадам Лертон тогда совсем плохо понимала по-французски и решила, что это просто народные гуляния. Да и вообще вела себя так, будто у них в Америке это в порядке вещей – всякие голодранцы врываются в дома к приличным людям и распевают подрывные песни. Мадам Лертон держалась молодцом, а вот мадам Клод, соседка с первого этажа, по-настоящему испугалась. Она была дома вдвоем со своей дочуркой, Мадлен – такая милая девчушка, месье Валентэн, очень воспитанная, чинная, почти как взрослая, хотя ей всего двенадцать лет, а тогда, значит, и десяти еще не было – да, неудивительно, что мадам Клод так перепугалась. Вдруг бы эти оборванцы ворвались к ней… вы представляете, месье Валентэн, что могло бы случиться?

Валентин представляет слишком хорошо – и потому спешит сменить тему. Когда они с мадемуазель Жанной смогут поужинать? Завтра? Послезавтра? Давайте пойдем на Холм, я знаю там прекрасный маленький ресторан…

Валентин мечтает, чтобы этот ужин – первый эпизод его сердечной жизни в Париже – прошел удачно. Ему хочется, чтобы это была настоящая трапеза влюбленных: отдельный столик; некоторое уединение, но все же в оживленной атмосфере, бок о бок с чужим весельем. Вино из глиняных с глазурью кувшинов и звуки скрипки – атмосфера скорее простая, чем роскошная, чуть более деревенская, чем городская.

Но где найти отдельный столик и кувшины с вином? Летом он увез бы Жанну за город, а в январе ему остается только Монмартр. Валентин заранее любит Холм, хотя толком не знает его – и потому тем же вечером предпринимает рекогносцировку. Он долго колеблется в выборе между четырьмя ресторанами на площади Тертр – Бускара, Шпильмана, «Мамашей Катериной» и «Кукушкой» – и в конце концов выбирает «Мамашу Катерину»: у Бускара и Шпильмана Валентину недостает местного колорита, а очаровательная «Кукушка» оказалась, увы, слишком дорогой.

В январе 1910 года площадь Тертр еще не захвачена элегантным Парижем, в ресторанах нет ни туристов, ни иностранцев – только местные. Валентин смотрит на них с трепетом и почтением, уверенный, что каждый – художник, ведущий вольную, веселую жизнь… ему видится, как они дымят трубками в своих мастерских и беседуют об искусстве…

В мечтах о грядущем вечере Валентин спускается с Холма. С удивлением замечает, что все часы в городе остановились и показывают 10:53 – будь он внимательней, он мог бы заметить это еще вчерашним вечером. Еще больше удивляет его то, что улица, где расположен пансион мадам Сижо, погружена во тьму: газовые фонари не горят, и в темноте Валентин сам не понимает, как оказывается почти по пояс в ледяной воде.

Первый этаж уже затоплен, жильцы эвакуировались в свободные комнаты второго и третьего. Валентин, живущий под самой крышей, чувствует себя в безопасности. Поднимаясь по лестнице, он слышит, как мадам Сижо бурчит:

– Последний раз такое было в 1870-м!

Со времен франко-прусской войны и Коммуны прошло почти сорок лет – мирных, безопасных, спокойных, – и сейчас, когда воды Сены заливают набережные Парижа, жителям не с чем сравнить разразившуюся катастрофу, кроме той давней осады.

Скинув мокрые брюки и кое-как разогрев печку, Валентин ныряет в кровать и засыпает счастливым сном влюбленного: ему снится Жанна и холм Монмартра, расцветающий всеми красками весны.

Вода прибывает всю ночь и весь следующий день – к понедельнику примыкающие к набережным улицы Парижа превращаются в каналы. Иногда проплывает лодка или плот, кое-как собранный из досок, ящиков или бочек: жильцы затопленных домов спасают самое необходимое.

Валентин стоит в толпе зевак на Аркольском мосту и, перегнувшись через перила, смотрит на грязную воду Сены – как будет смотреть через три года, на другом мосту, в этом же городе. Сильное течение утягивает под воду обломки стульев, кроватей, столов; они исчезают, чтобы потом вылететь из воды по ту сторону моста. Пустой бочонок подпрыгивает в воздух почти на метр – толпа встречает его аплодисментами. Царит оживление, люди перебегают с одной стороны моста на другую.

– Ставлю на софу против кресла! – кричит высокая худощавая дама в меховом боа.

Софа первая исчезает в водовороте, но под водой кресло вырывается вперед и выскакивает на поверхность на несколько мгновений раньше. Толпа подбадривает обломки мебели радостными криками, словно лошадей на ипподроме Лоншан. Из рук в руки переходят конфеты, мелкие купюры, в какой-то момент Валентин, кажется, замечает, что некто прячет в карман кольцо. Он с опаской озирается: все его деньги и документы с ним, во внутреннем кармане. После того как в его комнату вломились жильцы с затопленных нижних этажей, он боится оставлять там ценности.

Облокотясь о перила, стайка молодых людей, пересмеиваясь, обсуждают свежие новости. Юноша в коротком пиджаке говорит о реках, словно это друзья, приглашенные на вечеринку:

– К обеду мы ждем Йонну, Луару и Армакон.

– Не вижу ничего смешного, – буркает низенький парижанин в цилиндре и с тростью.

– Чем безумней – тем смешнее, – отвечает юноша. – Что может быть прекраснее Парижа, превратившегося в Венецию?

– В конце концов, потоп – единственный шанс на встречу зонтика и швейной машинки! – вторит его товарищ, показывая на борющийся с волнами колченогий стол, зацепившийся за обломок вывески, на котором можно разобрать буквы *“-rie”*.

– Это Божья кара, – отвечает коротышка. – Вода отомстила нам за воздух.

– Почему? – удивляется Валентин.

– Мы так рьяно штурмовали небеса, так гордились нашими воздухоплавателями – не ждали, что, покорив воздух, не сможем справиться с водой.

– Со всем бы мы справились, – говорит мужчина в синей блузе и каскетке, – просто всё разворовали. Были бы нормальные люки – канализация выдержала бы. Вы думаете, это река затопила Альфорвиль, Берси и Жавель? Если бы!

– Жавель затоплен? – спрашивает Валентин. Радостное возбуждение толпы теперь ему омерзительно.

– Да, уже два дня. Весь Сен-Сюльпис забит беженцами.

Всхлипы, причитания, детский плач. Запах пота, влаги, подгоревшей еды; страха, отчаяния, тревоги. Тихий шепот, бормотание, выкрики: Боже, Боже, Боже мой! Скорее проклятия, чем молитвы. Три сотни человек под сводами церкви спасают не свои души – свои тела. Дома, имущество, сбережения они спасти не смогли – все поглотила вода.

Валентин, поскальзываясь в промокших ботинках, идет между рядами матрасов, сваленных прямо на полу.

– Вы не из Жавеля? – спрашивает он хорошо одетую женщину.

Она качает головой. Слезы катятся по щекам.

– У меня больше нет дома, – говорит она, – мэрия послала меня сюда. Здесь мой дом.

Плачут даже мужчины.

– Моя жена, вы не видели мою жену? – причитает насквозь промокший работяга. – Когда я вернулся домой, там уже никого не было.

Валентин поднимается на хоры, где заняли места наиболее удачливые семьи. Здесь суше и теплее, кое-где стряпают, сковороды стоят на тлеющих углях.

– Да, мы из Жавеля, – говорит немолодой мужчина. Двое детей испуганно жмутся к нему, жена склонилась над сковородой – Валентин не видит ее лица.

– Вы не видели молодой девушки… ее зовут Жанна… она работает няней в Париже?

Мужчина пожимает плечами:

– Не знаю такой… мало ли их, которые в Париже нянями работают.

Он похабно ухмыляется, и Валентин отходит прочь. Молодая женщина окликает его:

– Милую свою ищешь? Так, может, она у своих хозяев отсиживается? У богатых-то небось сухо и тепло!

Валентин сбегает вниз. На стене церкви мускулистый Иаков, бросив меч, атакует ангела, обняв его борцовским захватом и пытаясь опрокинуть. Ангел выдерживает натиск Иакова без видимых усилий, равнодушно глядя вдаль. Из полумрака несется все тот же шепот: Боже, Боже, Боже…

Валентин пересекает Сену по мосту дез Ар. В самом деле, может быть, Жанна у своих хозяев, на Елисейских Полях? Как хорошо, что он узнал номер дома! Он легко найдет и… что он ей скажет? Да проще простого, скажет, что волновался, хотел узнать, что с ней, вот и всё!

На набережной Лувра полиция, солдаты и несколько десятков добровольцев укрепляют набережную мешками с песком, вывороченными булыжниками и деревянными обломками. Знакомый голос окликает Валентина:

– Иди сюда, поможешь!

Это Саркис – он волочит мешок. Валентин хватается за промокший холст и с трудом отрывает груз от земли.

– Еще немного – и подвалы Лувра на хрен зальет, – говорит Саркис, переведя дыхание. – Одна надежда – на наши баррикады.

В его голосе – ирония. Ну конечно: баррикады, парижская революционная традиция! Чуть поодаль немолодой парижанин в темно-синей блузе и бархатных штанах объясняет, как удобней выкорчевывать булыжники из мостовой, – он, наверно, еще застал Коммуну. Кто бы подумал, что рабочие будут строить баррикады бок о бок с полицейскими и солдатами!

– Ты же говорил – парижская канализация совершенна! – вспоминает Валентин.

– Ну да, – кивает Саркис, – помпы у Эйфелевой башни работают исправно. Просто никто не был готов к такому… Декабрь, конечно, был дождливый, но не настолько, чтобы ждать такие ливни и такой паводок на Марне! За несколько дней уровень воды поднялся на три с лишним метра. Кто мог на это рассчитывать?

– Мне говорили, в Берси и Жавеле канализация не справилась.

– Так это ж не Париж, – Саркис пожимает плечами, – пригороды. У них своя мэрия… небось пожмотились на хороших инженеров.

Они поднимают еще мешок и несут к парапету. Баррикада уже выше человеческого роста, но вода Сены – в опасной близости от верхнего края.

Затопленный город приспосабливается к бедствию. Там, где можно перейти вброд, мужчины переносят женщин и детей, спасающихся из домов, в которых были в безопасности еще вчера. Все чаще и чаще улицу перегораживают деревянные переходы – на смену доскам, кое-как положенным на стулья из кафе, приходят высокие мостки на прочных козлах. Они так высоки, что временами Валентин идет на уровне окон второго этажа, волны плещутся в метре внизу, словно парижане строят с запасом – вдруг вода и дальше будет прибывать?

А вода и в самом деле прибывает. На Елисейских Полях уже по пояс, он идет, опасаясь провалиться.

Мимо проплывает труп лошади.

Голые деревья отражаются в колышущемся зеркале потопа.

Двери дома, где работает Жанна, распахнуты. Парадное залито водой, Валентин пересекает его, боясь поскользнуться. Ни консьержки, никого. Он словно археолог, вошедший в древнюю гробницу или затопленный храм. Всплеск за спиной, он резко оборачивается – две крысы деловито гребут прочь. Валентин ежится от омерзения.

Наверное, это была детская. Кроватка с балдахином плавает в воде, на ней, тесно обнявшись, сидят две куклы и плюшевый медведь – словно парижане на плоту. Несколько кубиков с буквами алфавита качаются на волнах. Самое время сложить из них *SOS*, пока сюда не добрались крысы. Впрочем, только в «Щелкунчике» крысам есть дело до детских игрушек.

Валентин проходит к окну. У подоконника лицом вниз плавает кукла, раскинув намокшие юбки. Офелия, Офелия, где твой Гамлет? Валентин относит куклу к трем другим игрушкам. Вот вам подруга, девочки и медведь. Видите, чуть не утонула, но мы ее спасли. Обсушите ее и дайте горячего чаю.

Валентин слышит всплеск. Опять крысы? Но нет – обернувшись, он видит мелькнувшую тень, раздается хлюпанье убегающих ног.

Мародеры? Сегодня утром говорили, Лепен обещал за такое расстреливать на месте. Валентин выходит в залитый коридор – ни крыс, ни мародеров, ни полиции. Несколько открытых дверей ведут в затопленные комнаты. Не зная зачем, он обходит их одну за другой.

Гостиная. Хозяйская спальня. Библиотека. Опрокинутые стулья, книги, упавшие с полок, картины, канапе – все они неспешно дрейфуют, словно играют в Венецию. Не знаю, как парижане, а мебель не забудет этого потопа, когда подземные воды – кровь земли – вышли наружу, чтобы напомнить людям о величии неодушевленного мира, мира воды, огня и земли, материи, из которой созданы предметы обихода, столь надежные и прочные в обычные дни, таящие в себе тайные желания, секретную жизнь, скрытую опасность.

Как люди могут жить в мире, который так непрочен? Как могут забыть, что древний хаос плещется под их ногами и в любой момент может их поглотить?

Валентин достигает последней комнаты. Это кабинет. Массивный резной стол все еще сопротивляется архимедовой силе – залитый по самые ящики, он упорно стоит на полу.

Между столом и окном – всплеск. Одним прыжком Валентин вскакивает на столешницу и заглядывает в предоконный пролив.

Там съежилась маленькая девочка, вся в черном, по грудь в воде. Несколько фотографических карточек плавают перед ней, одну она держит в руках. Валентин подхватывает девочку подмышки и втаскивает на стол.

– Что ты здесь делаешь?

– Я искала Жанну, – говорит она.

– Я тоже, – Валентин невольно смеется, – а Жанна работает здесь?

– Да, – девочка серьезно кивает, – она няня у Лертонов.

– Ну, ты же видишь, здесь никого нет.

Валентин усаживает девочку напротив себя. Ох, она вся промокла, что же с ней делать?

– А где твоя мама?

– Наверху, – девочка вскидывает голову, – в квартире наверху, на первом этаже. Меня зовут Мадлен, я дружу с Жанной.

– Да-да, – кивает Валентин, – ты не поверишь, но Жанна мне о тебе говорила.

– А что она говорила?

– Что ты хорошая девочка и она с тобой дружит.

Валентин спрыгивает со стола:

– Ну-ка, цепляйся за меня, отнесу тебя к маме.

Девочка все еще сжимает в руках фотокарточку, Валентин мягко вынимает картонку из дрожащих тоненьких пальцев.

– Это твое? Не бойся, мы тоже с собой возьмем… – начинает он и тут, опустив глаза, узнает картинку. Сначала в глаза бросаются нелепые полосатые чулки, потом – знакомое кресло, и только затем он осознает всю непристойность этого снимка в руках у маленькой девочки. – Где ты это взяла?

– Тут, – Мадлен кивает, – их тут много плавает. Они очень… странные.

– Это гадость, – говорит Валентин, пряча карточку в карман, подальше от любопытного детского взгляда, – не надо такое смотреть.

Схватив Мадлен, он идет к выходу, но в коридоре девочка выворачивается и спрыгивает в воду. Смеясь, бежит прочь, по грудь в ледяной воде. Валентин спешит за ней, но поскользнувшись, падает у входа в гостиную. Выругавшись по-русски, вскакивает – девочки уже нет.

Он поднимается на первый этаж и стучит. Открывает немолодая женщина, высокая и худая, вся в черном, как Мадлен. Большой крест на груди, словно у монашки неизвестного Валентину ордена.

– Вы мадам Клод, мать Мадлен? – спрашивает он. – Я встретил ее в квартире внизу…

– Сто раз говорила, чтоб она туда не шастала, – раздраженно бурчит женщина. – Чему она научится у этих безбожников-американцев?

– Мадам, я думаю, вам надо уходить, – говорит Валентин. – Вода прибывает, и, возможно, завтра без лодки будет не выбраться. А сейчас я могу вам помочь.

– Не нужна мне ваша помощь, – мадам Клод передергивает плечами. – Думаете, вы первый? Полиция уже приходила утром, предлагали уйти отсюда. Знаете, что я им сказала? Я не брошу свой дом! Если ваше безбожное правительство довело Париж до такой беды, почему я вам должна доверять? Пока со мной моя вера, мне ничего не грозит! Молитва, сказала я, хранит лучше любой полиции! И меня, и мою дочь. А потом я прогнала их, молодой человек, прогнала прочь!

– Хорошо, мадам, я понял, – Валентин обреченно кивает. – А вы не знаете, молодая девушка, которая работает у ваших соседей снизу… Жанна… она тоже была с ними сегодня?

– Ах вот что тебе надо! – Женщина смотрит на Валентина сверху вниз. – Похоть привела тебя сюда, похоть, а не желание помочь ближнему! Вижу тебя насквозь, блудливый грешник!

Вон из моего дома! Ищи свою Жанну в борделях – там ей самое место!

Дверь захлопывается.

Похоть? Нет, конечно нет. Может, в самом начале, когда Валентин только встретил Жанну, только мечтал о ней. Но теперь – любовь, да, конечно, та самая любовь, о которой он столько читал. Жанна – святая, невинная, чистая, омытая водами нового потопа… ни единой греховной мысли да не пристанет к ней. Она верна их любви, как верен ей он. Они – словно два параллельных провода, которые не знают о взаимном притяжении, пока их не присоединят к электрической батарее. Но теперь, когда любовь струится в жилах, взаимное притяжение непреодолимо. Сегодня вечером они должны были встретиться – и, значит, Жанна придет на Холм, туда, где он назначил ей свидание.

Валентину становится смешно: к чему он бегал весь день по городу? Нужно выбираться отсюда и идти на Монмартр. Конечно, Жанна будет ждать его там!

Валентин впервые заметил их, когда миновал вокзал Сен-Лазар. Все тощие, с подтянутыми животами, с землисто-серой кожей. Странные мягкие шаги, точно шлепки по жирному заду. Как будто спешат по неотложному делу. Каждый словно сам по себе, в крайнем случае – парами. Их словно ведет невидимое течение, незримый поток – точь-в-точь как Сена уносит остатки стульев и картин. Точь-в-точь крысы, плывущие в поисках поживы.

Где они были раньше? Они ждали десять лет, двадцать; терпеливо развлекались мелким воровством и грабежами; ютились в переулочках, в тупиках, на задних дворах отдаленных кварталов; в мансардах меблированных домов; в бараках крепостной зоны, в каменоломнях Баньолэ.

Так микроб чумы десятилетиями спит в завитушках мебели или в стопке белья, терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах.

Так крысы прячутся в норах, вьют гнезда в свалках, копошатся в отбросах, ждут дня, когда война, голод или болезнь лишат людей сил. Тогда они выйдут на поверхность, влекомые благоуханием отчаяния и слабости, гонимые жаждой вкусить человечью плоть.

Никто не зовет их; не подает никакого сигнала. Свое время они чувствуют по запаху в воздухе, по вони гнилой воды, по потрескиванию почвы.

Приходит момент, и они выползают на свет.

Пока предприимчивые парижане вылавливают из воды богатую мебель и полупустые ящики (вдруг там дорогое вино?), эта трущобная армия рыщет в поисках иной поживы: заброшенные магазины, оставленные квартиры, растерянные девушки, одинокие прохожие.

Вот один из них, юный Валентэн Шестакофф. Промокший до костей, в тяжелой сырой шинели он не выглядит знатной добычей – но разве можно пройти мимо? Как говорится, курочка по зернышку… можно считать это тренировкой, разминкой перед большими делами… было бы глупо его упустить… глупо и неосмотрительно… он сочтет, будто может гулять безнаказанно… пусть парижане боятся нас, пусть газеты не забывают печатать наши фотографии, даже сейчас, во время потопа… мы – хозяева города, мы – его плоть и кровь, его святой дух, его свобода, равенство и братство… мы, равно презирающие и рабочих, и богатеев.

Им лет по двадцать. Кепки с длинными козырьками, выпущенные на виски пряди волос, голые шеи, брюки клеш и наглые морды. Чистейшая порода, хоть ставь на обложку *Le Petit Journal Illustré*.

Они прижимают Валентина к стене, приставляют к горлу что-то острое и холодное, самодельное и смертоносное. Они смеются, деловито потрошат карманы. Портсигар, бумаж-

ник, русский паспорт… а это что, глядите-ка! Эй, парень, это твоя зазноба? Ничего бабенка, ишь как навострилась!

Суют фотокарточку прямо в лицо. На мгновение испуганные глаза Валентина встречаются с детски-невинным, равнодушным взглядом серых глаз черно-белой обнаженной Марианны. Она сидит на кресле, раскинув ноги, Саркис и Кинэт в нелепых полосатых чулках стоят с двух сторон, салютуя вздыбленными членами…

Пошатываясь, Валентин входит на площадь Тертр. Как глупо: избежать гибели в волнах потопа и нарваться на распоясавшихся апашей. Ни денег, ни портсигара… хорошо еще, что, очнувшись после удара, сообразил поискать в грязи паспорт.

У «Мамаши Катерины» заняты почти все столики. Удивительно: внизу древний хаос наплывает на Париж, горожане борются с новым потопом, в церквях и вокзалах, этих приютах бездомных, в отчаянии плачут лишенные крова – а здесь все как обычно, где-то играет музыка, жаркое дымится в глиняных горшках, красное вино плещется в глазированных кувшинах.

Валентин, бледный и промокший, обводит взглядом площадь, ищет Жанну. Теперь он, конечно, не верит, что она могла прийти сюда.

– Эй, давай ко мне! – Смутно знакомый мужчина машет ему рукой из угла.

Валентин опускается на скамью.

– Мы виделись у Саркиса, – говорит мужчина, – я приходил к нему фотографировать, помните? Меня зовут Николя.

– Валентин.

Они пожимают руки, Николя наливает вина:

– Выпейте, согрейтесь… Вы оттуда, снизу? Как там?

– Плохо, – Валентин качает головой, – Париж никогда не оправится от этой катастрофы. Все залито водой. Площадь Согласия, Елисейские Поля, левый берег… я поражаюсь, как парижане могут равнодушно сидеть здесь, когда внизу…

– Вы не правы, – отвечает Николя. – В эти дни я видел множество примеров героизма и самоотверженности. Лодочники работают почти круглые сутки, «Бон Марше» отправил свои матрасы в Сен-Сюльпис, горожане жертвуют еду пострадавшим… даже архиепископ развязал церковный кошелек. А что до ужина – это ведь Франция. Еда – это святое. Знаете, что говорил Генрих IV? Моя цель – чтобы у каждого француза в воскресенье была курица в горшке. Кто еще так формулирует цели государственной политики?

– Мне трудно к этому привыкнуть, я не француз, – говорит Валентин.

– Я уже понял, по акценту, – отвечает Николя. – Я тоже. *Naverno, vy russkii?* – добавляет он, и от неожиданности Валентин не сразу узнает родной язык.

– Только пошляки говорят, что Париж сейчас похож на Венецию, – улыбается Николай. – Мы с вами знаем, что Париж похож на Санкт-Петербург. Помните «Медного всадника»? – и начинает читать, раскатисто и торжественно:

Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело – воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна.
Челны С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

Николай читает вдохновенно, но пьяному Валентину чудится что-то неуместное в русских стихах, звучащих посреди затопленного города. Как будто, вызывая призраки столетней давности, собеседник пытается обуздать разбушевавшуюся стихию, словно заклинает Сену – уймись, успокойся, это все уже было, ничего нового!

А может, успокаивает себя: ничего нового, это все уже было, успокойся, уймись, не волнуйся – и ритмическое повторение стихотворных строк вторит повторяемости исторических событий, убаюкивая, будто колыбельная.

– Я тоже сегодня… как Евгений… потерял свою Парашу, – всхлипывает Валентин, но тут же стыдится всхлипа. Мужчины не должны плакать – отец всегда говорил.

– Ну, это все-таки Париж, все-таки XX век, – отвечает Николай совершенно нормальным голосом. – Будем надеяться, она ждет тебя живая и здоровая, хотя, конечно, мокрая и продрогшая. Да к тому же здесь нет Петра, которому можно было бы посылать свои проклятия.

– Разве что Богу, – говорит Валентин, вспоминая многоголосый шепот Сен-Сюльпис.

– Но и Его тоже нет, – вздыхает Николай так буднично, словно это давно решенное дело, – иначе как же давнее обещание, пресловутая Радуга Завета? Серое небо, ни лучика солнца. Я думаю, многие парижане расстались в эти дни с иллюзией Бога.

– Можно сказать, он утонул, – говорит Валентин, гордый своим кощунством.

Приносят новый кувшин, Николай заказывает еще горшок мяса:

– Ешьте, ешьте, мой молодой друг. Тем более, как я понял, с деньгами у вас не очень…

И тут Валентин наконец все понимает. У него не просто отобрали бумажник – у него забрали все его деньги. Утром, уходя из своей каморки, он решил не оставлять там ничего ценного. Теперь ему нечем даже заплатить хозяйке, не на что купить еды… *всё гибнет: кров и пища!* Дрожащей рукой он лезет в карман – вдруг мокрая купюра прилипла к подкладке, вдруг завалялась хоть одна монета? Нет, только паспорт. Валентин тупо смотрит на расплывшиеся чернила.

– Кто же таскает с собой бумаги в такую погоду? – говорит Николай. – Ну, ничего, мы его высушим.

Он раскрывает паспорт, вглядывается в размытые буквы.

– Мир мал, – внезапно смеется он, – я и не знал, что ты в Париже, дорогой кузен.

Валентин смотрит на Сену. Волны бурлят где-то внизу – не то что три года назад. Уже не вспомнить тех бездомных дней. Улицы превратились в каналы, лодки и плоты – вместо омнибусов и авто. Бесплатная похлебка, мокрые ноги, серое небо, холод, холод, холод. Память сохранила лишь несколько картин – помутневших, словно плохо сделанные фотографии.

Ночь на Лионском вокзале, среди других бездомных. Поезда не ходят уже неделю, мало-помалу люди обжились. Знакомая вонь пота, влаги, подгоревшей еды; страха, отчаяния, тревоги. Всхлипы, причитания, детский плач. Теперь ты – не наблюдатель, не Орфей,

спустившийся за Эвридикой, теперь ты – равноправный житель этого мира, свой в коммуне отчаявшихся, нищих, обездоленных. Подложив под голову мокрую шинель, засыпаешь под французскую колыбельную, нежную, как в детстве.

Прекрасен залитый водой Париж, особенно на рассвете. Красавица Лютеция нисходит в свою купальню, изысканную, необъятную, грандиозную. Ровное зеркало вод, отражения обнаженных деревьев, одинокие островки брошенных телег, деревянные мостки вздымаются римскими акведуками. Серый, свинцовый, перламутровый цвет безграничного отчаяния. По колено в воде ты стоишь посреди великого города, погруженного в сумерки, – одинокий, нищий, лишенный всего. Счастье переполняет твое сердце.

Сначала погасли газовые фонари, потом исчезло электричество. Великий Город Света погрузился во тьму. Из подземных нор, из прорванных люков канализации, из тоннелей метро вода хлынула на город. Площадь Оперы, Большие бульвары – районы, которым никогда не грозило наводнение, – оказались поглощены водами нового потопа. Вот оно, настоящее начало XX века, думаешь ты. XIX век наречен веком стали и пара, наступившее столетие будет столетием подземных вод, ощутивших свою власть.

Даже когда вода схлынет, город уже не будет прежним. Мы навсегда запомним, как непрочен наш мир, под поверхностью которого клокочет и бурлит первозданный темный хаос.

В сумеречный полдень Валентин поднимается на колокольню Нотр-Дам. Потоп разливается перед ним во всем своем величии. Готический собор возвышается островом среди бушующих волн, бескрайняя Сена несет вывернутые с корнем деревья… они застревают в арках мостов, создавая новые и новые плотины. Редкие лодки и плоты скользят по улицам, превратившимся в реки. Но набережная Лувра, с удовлетворением отмечает Валентин, все-таки устояла.

Ледяной ветер и вечный дождь разогнали с колоннады обычных зевак. Лишь одна фигура, перегнувшись через парапет, нависает над городом, подобно горгулье. Валентин окликает: это Кинэт, революционный приятель Саркиса.

– Ты слышал, что они задумали? – говорит Кинэт. – Со дня на день объявят военное положение. Луи Доссе в городском совете орал вчера, что правительство не справляется с ситуацией, нужна сильная рука. И *L'Action Francaise* подхватил ту же песню.

– Но ведь они в оппозиции, – возражает Валентин. – Не они решают про военное положение.

– Они только делают вид, что против правительства. На самом деле – заодно. Еще когда Лепен и Бриан призвали на помощь армию, я понял, к чему все идет.

– Но солдаты всего-навсего помогают бороться с наводнением, – говорит Валентин, ежась от холода.

– А также расстреливают мародеров, – отвечает Кинэт. – Или тех, кого они считают мародерами. Ты думаешь, наводнение – случайность? Нет, все так и было задумано. Смотри сам: первыми под водой оказались бедные пригороды, все эти Берси, Жавель, Альфорвиль, в результате – тысячи рабочих без жилья и работы. Они деморализованы, не организованны, вырваны из привычной среды. Теперь в город вводят войска и объявляют чрезвычайное положение. Под шумок ликвидируют рабочие организации, арестовывают лидеров, развязывают террор. Тот же семьдесят первый, только без Коммуны. Так устроен капитализм – любую катастрофу он использует для борьбы с рабочим движением.

– Вряд ли кто-то специально устроил потоп, – говорит Валентин, но Кинэт не слушает:

– А теперь я скажу тебе главное: они просчитались. Им нас не победить, что бы они ни придумали. Ты думаешь, что я тут делаю? Молюсь? Любопытствую? Нет, я прозреваю будущее. Они рассчитывали, что вода не доберется до богатых кварталов, что бедняки, как всегда, заплатят за усиление власти реакционеров. Но посмотри – Елисейские Поля

под водой, Большие бульвары под водой, площадь Оперы клокочет, как один большой водоворот. Чудом им удалось спасти свой Лувр. Они не учли ни канализации, ни метро – всех подземных путей, по которым прошла вода. И точно так же они не учитывают силу нашего подпольного движения. Когда придет срок, рабочие поднимутся и новым потопом зальют улицы Парижа. Несколько лет назад, Первого мая, вместо демонстрации мы вышли на Елисейские Поля – просто прогуляться. Видел бы ты, как дрожала в своих домах вся эта сволота! А то была только репетиция – придет время, и мы пройдемся по этим улицам могучей волной! Сегодня я возвещаю великий грядущий потоп, который зальет эти улицы не водой, а кровью!

Кинет нависает над городом, судорога искажает лицо, рука вздымается к небесам римским салютом. Кажется, еще мгновение – и черной пророческой птицей он оторвется от парапета, взмоет к свинцовым небесам, призраком распахнет крылья над Парижем, над Францией, над Европой…

– Этого должно хватить, чтобы вернуться в Россию, – говорит Николай, отсчитывая банковские билеты. – Похоже, Париж не совсем твой город.

Несмотря на раскаленную печку, Валентин все еще дрожит. От мокрой шинели идет пар. Почему он не пошел вместе с Николаем сразу после их встречи? Даже не догадался сказать, что его квартира затоплена…

– Спасибо, – говорит он, – я обязательно отдам. Пришлю из России. Или отдам там, если вы приедете…

– Вряд ли, – говорит Николай, – я уже как-то не представляю, что мне там делать. Десять лет в Европе, меня там все позабыли небось.

Валентин возмущенно трясет головой.

– Ну а раз не забыли, то прокляли. Позор семьи, либертен и развратник, Содом и Гоморра.

– Нет-нет, – неубедительно возражает Валентин, – я всегда… я всегда буду о вас только хорошее… вы мне так помогли…

– Ерунда, – говорит Николай, – просто родственники должны помогать друг другу. А что до денег – я, Валя, хорошо заработал на этих снимках: Саркис продал едва ли не сотню отпечатков. Мишель Строгофф один взял штук тридцать.

Фотографии лежат на столе. Валентин снова не может отвести взгляда от задумчивого, равнодушного лица.

– Эта девушка… Марианна… она очень красивая, – говорит он.

Николай улыбается:

– Говорят, что да. Я в девушках ничего не понимаю. Наверно, потому у меня так хорошо получаются такие снимки.

Валентин уехал, когда с вокзалов отправились первые поезда. Париж приходил в себя, убирая грязь с улиц, отмывая прокисшие, пропитанные речной влагой стены, а Валентин глядел в окно на зимние пейзажи Европы и думал, что никогда не вернется в этот город, который посулил любовь и счастье, а потом обманул.

Валентин уезжал из Парижа девственником.

Женщину он познает только в России – самым традиционным, благопристойным образом: в первую брачную ночь с Варенькой, дочерью отцовского сослуживца. Как и положено, через девять месяцев Валентин будет держать на руках их дочь. Юношеский бунт захлебнется грязной водой парижского потопа – вернувшись в Россию, Валентин станет образцовым мужем и отцом. И, конечно, сыном – как и хотел отец, пойдет учиться на инженера и даже в Париж поедет не за новыми впечатлениями, а как получивший стипендию студент-отличник – прослушать курс лекций в Политехнической школе, всего на несколько месяцев, милая, зачем тебе таскать Танюшу туда-сюда, оставайся лучше дома.

Еще три года назад он догадался, что любовь – это удар тока, превращающий вытянутый кусок металла в провод. Когда невидимая рука поворачивает рубильник, когда электроны начинают свой танец, когда электромагнитное поле расцветает невидимым цветком – только тогда ты и узнаешь, кто ты на самом деле.

Иногда для этого нужно вернуться на место старой любви.

Валентин стоит у перил, перегнувшись, смотрит на бурные волны Сены, на воду, которая разлучила его с первой любовью. Наверное, Жанна осталась жива – в конце концов, в газетах писали, что во время наводнения погибло всего несколько человек. Он не хотел ее искать, но однажды все-таки зашел по знакомому адресу: консьерж сказал, что американцы съехали сразу после наводнения, а Жанну даже не смог вспомнить.

Три года назад Валентину казалось: Париж никогда не оправится. Но сейчас, зимой 1913 года, его встретил все тот же вечный Город Света, столица Европы, блистательный, сияющий огнями мегаполис ажурных конструкций, стали, стекла и невыразимой женской прелести.

Валентин ошибся, ошибся во всем. В России он думал: Жанна – всего лишь предчувствие Вареньки. Здесь, в Париже, он узнал – это было предчувствие Марианны, девушки с равнодушным лицом и ленивыми серыми глазами.

Валентин глядит в бурлящие воды. Что бы ни случилось с Жанной, Сена поглотила его первую любовь. Да и сам он мог погибнуть – ну что ж, три года назад ему дали отсрочку, но Сена всегда берет свое.

Как там сказала Ариадна? «Не грусти, это когда-нибудь должно было закончиться»?

Валентин перелезает через перила, с трудом балансируя на карнизе, отводит руки за спину, цепляется за чугунные завитки, а потом, упершись каблуками, нагибается.

Волны вскипают под мостом. Проходит любовь или приходит – что-то умирает навсегда.

Всё когда-нибудь должно закончиться.

Нерукотворной горгульей Валентин нависает над рекой.

* * *

Ноги еще бегут, рот еще разинут в крике «Ура!», а в животе уже распускается цветок из металла и плоти, раскрывает смертельные лепестки, распахивает полсотни рваных, окровавленных губ – и выплевывает в холодный осенний воздух растерянную, изумленную, измученную душу.

С высоты птичьего полета бегущие фигурки похожи друг на друга; поднимаясь в стратосферу, не различаешь цвета курток, формы головных уборов. Одинаковы стоны смерти, крики ярости – какой язык ни выбери.

Ноги подкашиваются, рот захлебывается жирным грунтом, слякоть мешается с кровью, и только ладонь все еще сжимает оружие приветственным рукопожатием смерти.

Один за другим они бегут мимо, поднимая брызги, крича свое «Ура!», а он – его тело, брошенная оболочка – лежит неподвижно, погружается в грязь, утопает в земле, как в море; лежит, лишенный прошлого и будущего, воспоминаний и надежд… еще никем не оплаканный, не поименованный, не награжденный, не внесенный в списки… пока еще неизвестный солдат, врастающий в свою временную могилу.

5
1916 год
Три дня тишины

Эту историю не услышишь в армейских борделях Фландрии. Ее не рассказывают, лежа в грязном окопе, солдаты Антанты. Раненые в прифронтовом госпитале, вспоминая погибших товарищей, ее даже не упомянут. Те, кто вернется домой, словом не обмолвятся об этой истории подружкам и родным.

Это история тех, кого погубила война, – хоть они и спаслись от немецких штыков и снарядов.

Память о том, что никогда не вернется, обладает удивительной силой. Не отпускает, тащит за собой, как на поводке, словно хороший фокстерьер, достойный выставки «Кеннел-Клуба». Пес рвется к чернеющему зеву норы, куда огнисто-рыжим клубком закатилась беглянка-лиса… отрывисто лают раздосадованные гончие… подсвеченные мягким вечерним светом серебристые облачка пара, едва касаясь ноздрей охотников, замирают, прежде чем растаять в холодеющем осеннем воздухе… рыжие и черные пятна на белой спине фокстерьера – невольная рифма к ржаво-огненному сполоху лисицы, только что петлявшей между темными прогалинами в первом снегу. Это сочетание – солнечно-рыжие и землисто-угольные пятна на белом, чуть отдающем розовым фоне – всегда будет напоминать Джеймсу лисью охоту, простуженный лай гончих, упруго натянутый поводок, предвкушение мига, когда собака ныряет в нору, пускается в подземное путешествие, точно Орфей, нисходящий в царство мертвых за своей ветреной рыжей возлюбленной.

Вот и память, подобно фокстерьеру, проваливается в первозданную подземную тьму, натягивает поводок, влечет за собой… и вдруг – вот он, момент триумфа, внезапной пузырящейся радости, трепетной встречи! – вдруг давнее воспоминание рыжей лисицей проносится по бело-черному полю, воскресшее, вырванное у темноты беспамятства, стремительное, живое – но уже предчувствующее выстрел, который навсегда остановит его.

Такими же рыжими были волосы юной леди Виктории Темпл, будущей леди Грей… Ее розовые веснушки блестели, словно пятна весеннего света, просочившиеся через широкие поля соломенной шляпки. Зелень лужаек чуть отдавала желтизной – но не выгоревшей, увядающей желтизной, что предвещает конец лета, а яркой, многокрасочной, вызывающей в памяти Живерни Клода Моне… солнечной желтизной первых дней мая, когда парусами хлопочут на ветру полотняные тенты, замирают в густом воздухе звуки струнных, а слуги безостановочно разносят напитки и блюда (бедняги, думает Джеймс, они одни, словно вороны, томятся жарким днем в своих черных фраках и черных жилетах… как они по-старомодному церемонны!). Джеймс смотрит на сэра Эдуарда, лорда Грея, высокого, крупного, сдержанного; щеголь, переживший погоню за модой; денди, отказавшийся от оригинальности.

Вот он, счастливый май, думает Джеймс – и тут резкий свист обрывает воспоминание, точь-в-точь как выстрел охотника останавливает бег лисы, выгнанной из норы сноровистым фокстерьером.

Свист обрывается ударом, глуше и сокрушительнее, чем обычно: прямое попадание в окоп. Вот так она звучит, фуга немецких гаубиц. Мы давно научились различать калибр снарядов по звуку – и сейчас над нами тяжелая завеса огня, сотканная из 122– и 152-миллиметровых. Блиндаж дрожит, ночь ревет и мечет молнии. При свете вспышек мы смотрим друг на друга. Лица побледнели, губы сжаты; мы только головой качаем: что же это делается?

Дождь шел уже третий день, поле разбухло, а дно окопов превратилось в жидкое грязное месиво. Ноги вязли по щиколотку, и потому, едва выбив немцев с линии обороны, мы юркнули в отвоеванный блиндаж, надежно закрытый бетонной плитой от дождя и, хочется верить, артиллерийского огня.

Тут-то канонада и смолкла. Наступил редкий на передовой миг тишины, которого хватило, чтобы гончие памяти погнали лисицу воспоминаний навстречу новым выстрелам.

И вот мы, шестеро солдат Альянса, сидим в немецком блиндаже, и каждый всем телом ощущает, как тяжелые снаряды сносят бруствер окопа, вскапывают откос и крошат лежащий сверху бетон.

– Ну и ночка, – говорит Томми, – а я-то думал выспаться!

Томми – самый старый и опытный, он знает: сон – самое главное на войне.

Ну и, конечно, жратва – но это и так понятно.

Мы все-таки заснули, уже под утро, когда смолкла канонада. Разбудил нас непривычно яркий свет – Серж выглянул наружу и присвистнул.

– Дождь кончился, братцы, – с легким акцентом говорит он. – Глядите, красота какая!

Действительно – солнце сияет, будто в самом деле наступил мир или, на худой конец, вернулось лето. Пар поднимается над влажной измученной землей, пробуравленной окопами и разрытой снарядами. Голубое небо отражается в подсыхающих лужах. Желто-красная осенняя рощица замерла в двухстах метрах к востоку.

Мы осматриваемся. Ночной обстрел почти разрушил немецкие окопы – они скрылись под ямами, воронками и осыпями. Глубина – полметра, не больше.

– Да уж, – говорит Томми, – если боши решат вернуться, мы вряд ли здесь удержимся.

Джеймс надеется, что скоро подойдут наши, но Томми качает головой:

– Мы вчера, похоже, сильно вырвались вперед. Не удивлюсь, если окажется, что мы в немецком тылу.

– Вряд ли, – говорит Сэм. – Что же они, обстреливали нас всю ночь?

Джеймс пожимает плечами:

– У орудий такие разношенные стволы, что снаряды ложатся куда попало.

В конце концов мы возвращаемся в блиндаж: Томми говорит, что там наверняка где-нибудь найдется заначка. Нам все время кажется, что у немцев полно жратвы, хотя пленные набрасываются на еду, будто не ели с начала войны, а их мертвые выглядят такими же худыми и изможденными, как и наши. Но в этот раз Томми прав: мы находим несколько краюх хлеба, дюжину банок консервированной фасоли, пяток банок говядины и даже – небывалое дело! – запас искусственного меда. Серж вызывается приготовить завтрак, и в ожидании пиршества мы заваливаемся на нары. Грег, как обычно, зубрит свой учебник физики, все еще мечтает поступить после войны в Оксфорд. Сэм достает маленькую шахматную доску и принимается уговаривать Джеймса сыграть.

– Я тебе проиграю, – говорит Джеймс. – Мы, англичане, никогда не были сильны в шахматах. Это игра для немцев и для вас, американцев.

– Вот уж нет! – возмущается Сэм. – В прошлом веке все крупнейшие турниры проходили в Лондоне. Возьмем хотя бы турнир 1899 года, когда Ласкер…

– Это потому что Лондон – столица мира, – пожимает плечами Джеймс. – Если бы проводились чемпионаты по сбору кокосовых орехов, они бы тоже проходили в Лондоне.

– Но в Англии нет кокосов!

– Вот я и говорю: ни кокосов, ни шахматистов.

– Это неправда, – отрывается от учебника Грег. – В Оксфорде есть шахматный клуб, я слышал.

– Оксфорд вообще удивительное место, – говорит Джеймс, – там полно того, чего вообще не должно существовать в природе. Ты «Алису в Стране чудес» читал?

– Про девочку, которая провалилась в лисью нору? – спрашивает Серж.

– В кроличью, – поправляет Джеймс.

Впрочем, какая разница? Нора – она и есть нора: грязно, сыро и пахнет землей. Как в блиндаже или в окопе.

В тусклом свете, просачивающемся в блиндаж, лица кажутся серыми и изможденными – будто двух лет войны недостаточно, чтобы навсегда превратить человека в слабое подобие того, кем он был когда-то.

– Так вот, Оксфорд – это и есть Страна чудес: все не то, чем кажется.

Весь день мы приводили окопы в порядок.

– Черт-те что, – ругался Сэм, – а говорят, немцы аккуратные! Разве это окопы? Ни одной прямой линии. Лабиринт какой-то!

– Это чтобы смерть заблудилась! – крикнул Серж из-за поворота.

Они работали на пару с Орельеном: Джеймс не видел их, но весь день слышал, как они переговаривались по-французски, долетали только обрывки фраз – «Как там кафе “Фуке” на Елисейских?», «В “Максиме” не протолкнешься», «Таксисты до сих пор вспоминают, как в сентябре четырнадцатого везли солдат».

Историю про таксистов Джеймс слышал раньше: в самом начале войны, когда фон Клюк перебросил с Марны две дивизии против Монури, прикрывавшего подступы к Парижу, генерал Галлиени собрал парижских таксистов и, рассадив солдат марокканской дивизии по таксомоторам, приказал вести на передовую. Удивительно: таксисты включили счетчики, а потом Генштаб полностью заплатил.

Джеймсу хотелось верить, что ни один английский кэбмен не взял бы денег в такой ситуации. Но французы, конечно, другое дело.

Если бы существовали еврейские таксисты, они бы вообще удвоили счетчик.

– А как сейчас одеваются девушки? – спрашивает Серж.

– Носят короткие платья, – отвечает Орельен.

– Насколько короткие?

– Чуть ниже колена. И стрижка тоже короткая, – говорит Орельен и, помолчав, добавляет: – Как будто с мальчиком спишь.

Весь день немцы так и не показывались, но и от наших – ни слуху ни духу. Томми считает: надо окопаться и переждать еще одну ночь.

Стрелка на светящемся циферблате словно топчется на месте. Чтобы не заснуть, Джеймс шевелит пальцами в сапогах: в полночь Серж его сменит.

Серж нравится Джеймсу. В нем нет ни бесшабашности, ни дикости, которые молва приписывает русским. Впрочем, Серж ведь не какой-нибудь *козак*, а русский дворянин, граф или принц. Вероятно, его было бы прилично пригласить в лондонский дом Девисов, в поместье Греев в Линкольншире.

Джеймс представляет, как Серж разговаривает с сэром Эдуардом в солнечной декорации давнего майского дня, и зябко поеживается: в беседе с малознакомыми людьми сэр Эдуард Грей умел придавать голосу оттенок едва заметной нежности, деликатной ранимости, и собеседникам казалось, что им несказанно повезло – такой тонко чувствующий человек, как сэр Эдуард, удостоил их своим расположением. Они запинались от смущения, а лорд Грей смотрел им в глаза с выражением неопределенности, искренности и рассеянности, и каждая его фраза, каждый парадокс – чуть старомодный и оттого еще очаровательнее – все больше и больше возвышали старого денди в глазах растерянных и сконфуженных собеседников.

Джеймс знал дядин секрет: именно легкое, почти незаметное презрение придавало сэру Эдуарду изысканности и утонченности. Так ледяное дыхание первых заморозков сковывает осеннюю траву сверкающими кристаллами инея, и в розовом свете утреннего солнца

она предстает хрупкой и ломкой, драгоценной, словно за одну ночь выточенной мастеровитым ювелиром из нежнейшего серебра.

Джеймс разгадал сэра Эдуарда десять лет назад, в библиотеке лондонского дома своих родителей. В тот раз собеседником сэра Эдуарда был другой дядя Джеймса, майор Девис, герой недавней экспедиции генерала Эгертона в мятежный Вазиристан. В те годы юный Джеймс мечтал о далеких загадочных землях, отчаянных стычках с враждебными племенами, о воинской славе, подвигах и доблести. Он играл в Гордона Хартумского, в осаду Кимберли и потому глаз не сводил с майора Девиса – и там, в отцовской библиотеке, впервые расслышал ледяные колокольчики презрения в голосе сэра Эдуарда, участливо расспрашивавшего о подробностях недавнего похода.

Сегодня Джеймс жалеет, что не прислушался к презрительному перезвону: возможно, будь он внимательней тогда, не отправился бы два года назад добровольцем в Европу, чтобы, как писали газеты, дать отпор *тевтонским варварам, растоптавшим нейтралитет Бельгии и Люксембурга*.

Я мечтал стать таким же, как сэр Эдуард или как майор Девис, думает Джеймс, но я опоздал родиться. Даже если я вернусь с войны, я не застану того, что было раньше. Старая аристократия, светские щеголи с их утонченным вкусом и равнодушием к жизни, готовые принять смерть как неизбежный финал наскучившего спектакля… офицеры, щепетильные в вопросах чести, собственной и имперской, создатели Британской империи… все те, кто вкусил ее плоды, выращенные на деревьях всех континентов под никогда не заходящим солнцем, – этим людям нет места в мире, узнавшем ядовитые газы и хлюпающую грязь окопной войны.

Свадьба лорда Эдуарда Грея была концом эпохи – но тогда об этом никто не догадался.

Джеймс грустно усмехается, вспоминая солнечный день и рыжие пятна света на лице леди Грей. Недавно мать написала, что тетя Виктория ждет второго ребенка, – и, возможно, лорд Грей стал отцом уже второй раз.

Вот кому повезло родиться вовремя – пятидесятилетний отец семейства спокойно ждет конца войны в родовом поместье, наслаждаясь обществом очаровательной юной жены… а его племяннику остается только кормить вшей в окопах Фландрии.

Из темноты доносится слабый шум. Кажется, с востока, со стороны рощицы. Шум кажется Джеймсу знакомым, хотя он не похож ни на шаги, ни на далекий гул танков и машин – ровный, еле слышный.

Наверное, шумит в ушах, думает Джеймс и снова шевелит пальцами ног в сырых сапогах.

Через час Серж сменит его, Джеймс спустится в блиндаж, заснет, накрывшись шинелью, и во сне снова и снова будет рыть окопы, зарываясь все глубже в землю, словно лиса в свою нору.

Серж стоит, опершись на винтовку, тихонько насвистывая полузабытую мелодию. Три года назад весь Париж ходил в «Бродячего кролика» увидеть, как танцует Марианна. Как же она была хороша, когда выбегала на сцену, и электрический свет превращал ее обнаженные плечи в пленительный мрамор! Как стучали каблучки туфель, как мелькали маленькие ножки!

Ах, Марианна, Марианна! Бедный Валентин сходил по тебе с ума, ежедневно – букеты цветов, каждый вечер – шампанское. Что стало с тобой теперь, Марианна? Что стало теперь с твоим Парижем, с прекрасным Парижем начала века?

А мои красавицы, подружки на один вечер, на одну ночь? – думает Серж. – Что сталось с вами? Неужели забросили роскошный особняк на рю Шабанэ, маркитантками отправились следом за французской армией, привычно соблазняя старых клиентов, этих марша-

лов и генералов? Или все-таки остались дома, решив, что даже в опустевшем Париже хватит мужчин, чья щедрость пропорциональна похоти?

Серж вздыхает и замирает напряженно: тихий шум, едва различимый, откуда-то с запада, со стороны наших позиций.

Может, подкрепление? Серж напряженно всматривается в темноту, но перед глазами по-прежнему высокие лестницы, витые колонны и полуодетые прелестницы из «Шабанэ».

Говорят, когда люди сидят взаперти, они рассказывают друг другу истории. Все наши истории мы давно знаем наизусть, и потому рассказываем сны – хотя Серж кривится презрительно: мол, скучнее чужих снов только чужой разврат.

Начинает Орельен, он самый молодой из нас – а в молодости трудно различить сон и мечту.

– Сегодня во сне я проснулся в длинном зеленом зале, с обоями, похожими на листву. Все было залито светом, таким нежным, что хотелось попробовать на вкус. Возле окна сидела девушка и шила, повернувшись ко мне спиной. Она словно ждала моего пробуждения… Мне надо было только встать и подойти, а я так устал, что снова уснул… но, засыпая, поклялся, что уж в следующий раз…

Орельен замолкает, чуть смущенно улыбаясь.

– Хороший сон, – говорит Джеймс, – я бы поменялся. Мне вот приснилось, будто мы с братом идем по дороге мимо большого дома. И брат шутя стучит в ворота, не знаю зачем. Но прямо там, во сне, я понимаю – зря он это сделал. И вот, не успеваем мы отойти, как ворота распахиваются, выезжают всадники и гонятся за нами. Мы бежим, и я знаю, что если нас схватят, то навсегда посадят в какой-то подвал.

– Понятно даже, какой, – говорит Сэм, – типа вот этого блиндажа.

Джеймс смеется, хотя ему не смешно. На секунду кажется: блиндаж – это ловушка, мышеловка, в которую они попали.

– А мне, – говорит Сэм, – последнее время снится один и тот же сон. Тоже про ворота. Большие такие, типа ворот в замок или в поместье. Они открыты, и я хочу войти, но меня не пускает стражник. Один и тот же, каждую ночь. Каждый раз я придумываю что-нибудь новое – то пытаюсь подкупить, то проскочить незаметно… но ничего не получается. А мне почему-то очень надо войти…Такой вот неприятный сон.

Томми смеется, не то смущенно, не то – презрительно.

– А мне приснилось, – говорит Грег, – будто я проснулся у себя в комнате, в Лондоне. Я лежу на спине, и мне очень неудобно лежать, что-то мешает. Комнату я хорошо вижу, все узнаю, ну, полку там с учебниками, физика, химия, механика… раскрытые тетради на столе, все как обычно… но что-то не так.

Грег замолкает, и Орельен спрашивает:

– Так что же?

– Ну, тут я понимаю, что превратился в большого майского жука.

На этот раз никто не смеется.

Запасы еды почти подошли к концу. Целые сутки мы провели на этом островке заповедного безмолвия, странного посреди великой войны. Похоже, фронт ушел куда-то на восток или, напротив, остался далеко на западе. Мы спорим, что делать, и Джеймс рассказывает: ночью он слышал странный шум.

– Я тоже, – кивает Серж, – но потом решил, что мерещится. Ровный такой шум, вон оттуда, – и он машет рукой на запад.

– Вот уж нет, – говорит Джеймс, – с другой стороны. Точно помню, я еще подумал: кто-то засел в рощице.

– Нет-нет, – говорит Серж, – я подумал, это наши сюда пробираются. Шум был такой… ну, будто кто-то роет землю.

– Да, точно, – соглашается Джеймс, – я и не сообразил. Будто кто-то роет землю.

Мы обсуждаем, что бы это могло быть. Отряд немцев затаился в роще и спешно возводит укрепления, чтобы отбить нашу атаку? А может, напротив, несколько англичан или французов, как и мы, потерялись и пытаются прорыться вперед в полуразрушенном лабиринте окопов?

– Надо понять, что происходит, – говорит Томми.

Мы молчим. Нам следует убираться отсюда, и поскорей, но мы не спорим. Не хочется никуда двигаться, не хочется говорить – здесь, в блиндаже, так тихо, так покойно.

Томми предлагает, когда стемнеет, выслать к рощице разведку. Мы тянем жребий – идти выпадает Орельену и Сэму.

– Хорошо бы захватить какого-нибудь боша и допросить, – говорит Томми. – Хотя что толку? У нас же нет переводчика!

– Я могу переводить, – говорит Орельен, – я немного знаю язык. Мой отец был из Германии, всю жизнь его звали Шарль, но на самом деле он был Карл. Перед смертью забыл французский и два месяца бредил по-немецки про какой-то огромный алмаз.

– Ты, выходит, тоже немного бош! – усмехается Сэм.

– Да, ладно тебе, – говорит Джеймс, – меня больше интересует алмаз – как в каких-нибудь «Копях царя Соломона» или «Острове сокровищ». Твой отец не был знаменитым путешественником, или разбойником, или что-нибудь такое?

– Нет, – грустно улыбается Орельен, – мои родители были из богатой семьи, но разорились еще до моего рождения. Мама говорила, их дядя перед смертью спрятал у себя дома в Австрии какой-то удивительный бриллиант, говорили, он хотел отдать его только маме, но она не успела приехать, дядя так и умер, никому не сказав. Родители вместе с теткой Анной весь дом перевернули, но ничего не нашли и вернулись во Францию ни с чем.

Мы доедаем остатки немецкого хлеба и снова валимся на нары.

– Удачно получилось, парни, что здесь нет крыс, – говорит Томми, – а то бы мы сдохли от голода.

Месяц назад мы подверглись настоящему нашествию. Док тор-голландец, вечно разъезжающий на своем мотоцикле, дал нам крысиный яд, но толку от него было, что от молитвы посреди канонады. Новозеландец Питер придумал приделать к потолку проволоку с крюком и цеплять туда узелок с хлебом. И вот однажды ночью он проснулся и увидел: верхом на узелке сидит жирная крыса и уплетает хлеб за обе щеки.

В конце концов Питер придумал выход: мы сложили обглоданный хлеб в середине блиндажа и залегли со своими лопатами, а когда услышали возню и шорох – включили фонари и принялись молотить, что было сил. Потом выкинули изрубленные трупы и повторили еще раз. А потом – еще и еще.

Короче, крысы сгинули. Может, почуяли кровь, а может, заметили что-то неладное.

Питер неделю ходил довольный, как деревенский кот, – до тех пор, пока немецкий снаряд не снес ему полголовы.

– Знаешь, Джеймс, – говорит Серж, – на что еще похож этот ночной шум? Словно скребется множество крыс.

– Не говори глупостей, – прерывает его Томми, – вряд ли немцы раздобыли дудочку крысолова и посылают на нас крысиные полчища.

– Всё может быть, – говорит Орельен. – Кто бы еще пять лет назад поверил в отравляющие газы?

Сэм сидит над шахматной доской и, сверяясь с записями в тетрадке, делает ходы за черных и за белых.

– Если бы война была похожа на шахматную партию, – говорит он Грегу, – мы бы давно заключили ничью. То, что происходит здесь, во Фландрии, называется пат. Ни мы, ни они

не можем сделать ход. Бесконечно повторяем одно и то же – вперед-назад, отбить плацдарм, сдать плацдарм, вырыть окопы, засесть в немецких… наши генералы хреновые шахматисты. Я бы хотел, чтобы мир был устроен как шахматы. Четкие правила, ровная доска.

– Ну нет, – говорит Томми, – ровная доска слишком хорошо простреливается.

– Знаешь, Сэм, – говорит Орельен, – я понял, про что твой сон. Эти ворота – ну, это как врата Рая. И этот охранник – Святой Петр. И ты хочешь туда войти, но тебе еще рано – поэтому он тебя и не пускает.

– Глупости, – говорит Серж, – никакого Бога не осталось. Ницше был неправ, когда в «Заратустре» возвестил его смерть: тогда Бог был только болен. А умер он сейчас, вот тут, в грязи Фландрии, под неподкупным окопным небом. Изошел кашлем от немецких газов, захлебнулся в крови штыковых ран, задохнулся, заживо засыпанный в окопах.

Джеймс морщится, вспомнив, как сэр Эдуард говорил: «Пафос – единственный хлеб людей, лишенных воображения».

– Если Бог когда-либо существовал, – говорит Джеймс, – Он вряд ли умер от такой ерунды, как еще одна война.

– Бог не умер, – говорит Орельен, – Бог здесь, с нами. Бог всегда с теми, кто страдает.

Джеймс пожимает плечами. Те, кто страдает, всегда склонны преувеличивать свои страдания – как и интерес Бога к этим страданиям.

– Конечно, Бог здесь, – неожиданно вступает Сэм, – мы ему каждый день приносим жертвы. Такой древний бог, может, бог ваших кельтов или друидов… у наших краснокожих таких богов завались. Если ночью после боя долго вглядываться в темноту, можно его увидеть. Он стоит среди воронок, насыпей и осыпей окопов, среди развороченного поля. Он похож на огромный череп, и отряд за отрядом марширует в его пустые глазницы. В левую – наши, в правую – немцы. Или наоборот, неважно. Но даже туда мы идем раздельно – холодные, хилые, мертвые. Наши жизни достаются ему дешево – крупный опт, низкая цена. Но вы всмотритесь – именно этот Бог приветствует вас, именно он объясняет, как хорошо умирать, именно ему поет хвалу ночной хор.

– Это Дьявол, а не Бог, – говорит Орельен.

– Какая разница! – раздраженно говорит Серж. – Вы что, не понимаете? И Бог, и Дьявол, и все ангелы с демонами вместе – они все умерли! Никого не осталось, все, *c'est fini*! Некому молиться, некого проклинать!

Сейчас его акцент особенно заметен.

– Кончайте орать, – говорит Томми. – Выходить скоро, дайте посидеть спокойно.

С последними лучами солнца Орельен и Сэм выскальзывают из блиндажа. Серый туман стелется над взопревшей землей. Окопы заполнены им, словно горная дорога, тонущая в облаках: уже в метре ничего не видно. Орельен и Сэм исчезают, едва слышен шорох удаляющихся шагов, потом стихает и он.

– Первым в караул идет Грег, – командует Томми. – Я сменю.

Прихватив винтовку, Грег выходит из блиндажа. Мы вытягиваемся на нарах и пытаемся уснуть. Дай Бог, вчерашние кошмары не вернутся к нам.

Теперь Грег хорошо слышит шум, о котором говорили Джеймс и Серж. Еле слышное шипение, слабый звук, довольно безобидный. Он сразу понимает: его товарищи неправильно определили направление – шум идет не с востока и не с запада, он одинаково слышен в любом месте, где бы Грег ни стоял. Даже странно: не может же источник звука быть одновременно везде?

Может, думает он, это всего-навсего ночные грызуны, мелкие зверьки, роющие норы в стенах окопов? Тогда все понятно – у шума много источников, а наложение звуковых волн создает иллюзию шипения, равномерно идущего со всех сторон.

Грег прикладывает ухо к стене окопа – звук должен усилиться, но этого не происходит. Гипотеза не сработала, ничего страшного. Это нормально для человека, который хочет посветить себя физике, – выдвигать гипотезы, проверять их и отклонять, если они не подтверждаются.

Представим себе один источник звука, думает Грег. Звук распространяется в пространстве и последовательно достигает нескольких наблюдателей, сначала того, что ближе, потом – следующего. Опросив наблюдателей, мы определим направление распространения звука. Эта схема не работает, если звук постоянен и неизменен, – но тогда второй наблюдатель зафиксирует затухание звука, меньшую громкость.

В нашем случае, думает Грег, этого не происходит. Значит, мы должны признать, что звук заполняет пространство равномерно, как эфир в классической модели электродинамики. Впрочем, десять лет назад Эйнштейн предложил отказаться от эфира. Но как объяснить равномерное присутствие звука в любой точке пространства?

Тихое шипение. Кажется, усилилось за последний час. Или это только кажется?

Может, думает Грег, источник находится на таком большом расстоянии, что мы не замечаем изменения звука в силу несоразмерности масштаба. Скажем, в сотне километров отсюда работает какая-то огромная машина, и до нас доносится слабый отзвук ее шума.

Но что за машина может производить такой шум? Не проще ли предположить, что мы находимся в центре некоего всемирного кольца, некоей огромной сферы, порождающей вот этот ровный гул?

Когда война закончится, думает Грег, надо будет поставить точный эксперимент. Не может быть, чтобы этот звук был слышен только здесь. Наверняка удастся зафиксировать его и в лаборатории. А это будет означать…

Нет, постой, перебивает он себя, если звук слышен повсюду, почему люди веками его не замечали?

Наверное, чтобы услышать такой тихий звук, нужен контраст между бесконечными взрывами и обманчивой тишиной, таящей в себе еле слышное шипение.

Если бы не война, думает Грег, мы бы и сейчас не обратили внимания на эти звуковые волны.

Уже наступила полночь, из блиндажа выбирается Томми и спрашивает:

– А что Сэм и Орельен?

И Грег понимает: их товарищи так и не вернулись.

Утром никто не рассказывает снов. От Сэма и Орельена нет вестей, и это значит – в роще действительно засели немцы. В полевой бинокль Томми рассматривает пылающие кроны – никаких признаков жизни. Видать, боши окопались и ждут нашего появления. Было бы разумно вернуться назад, к своим – но никто из нас не думает о возвращении, жажда мести стучит в наших сердцах. Если будем действовать быстро, застанем немцев врасплох. Мы обрушимся на них, как бич Бога, сметем с лица земли, уничтожим как крыс.

Примкнув штыки, гуськом мы петляем по лабиринту. Вчера здесь шли наши товарищи, а сегодня идем мы, чтобы отомстить. Окопы тонут в утреннем тумане, шаги звучат глухо, жижа хлюпает под ногами. Воздух удушлив, серный запах кружит голову. Кажется, мы идем много часов – нас по-прежнему окружает утренний сумрак, солнца не видно, в небе какое-то тусклое пятно – похоже, оно замерло, будто его притормозил какой-то новый Иисус Навин.

– Не останавливаемся, – командует Томми, – не останавливаемся!

Со вчерашнего утра у нас во рту ни крошки. Животы подводит от голода. Мы заставляем себя думать, что там, в немецких окопах, полно еды. Все знают – немцев снабжают куда лучше нас.

Сволочи. Тевтонские варвары. Сытые тевтонские варвары.

Ненависть кипит в наших сердцах.

Мы нашли их у самой опушки. Белый саван тумана укутывал неподвижные тела, словно одеяло.

Выпрыгнув из окопа, Томми и Серж бегут к убитым. Подняв винтовки, мы всматриваемся в серую мглу, ожидая нападения.

Как это по-немецки: бросить мертвые тела как приманку!

Мы ловим каждый шорох, чтобы огнем прикрыть наших товарищей.

Вероятно, немцы чувствуют нашу решимость: ни единой ветки не колышется, все словно вымерло.

Через минуту Томми и Серж возвращаются.

– Мы должны прочесать рощу, – говорит Томми.

Голос его дрожит от ярости.

– Вы бы видели, что они сделали с Сэмом! – говорит Серж.

Мы снова в блиндаже. Похоже, мы потеряли счет времени: над окопами по-прежнему стелется туман, солнце так и не появилось, утренний сумрак сменился вечерним. Несколько раз мы прочесали рощу, но не встретили ни одного немца.

– Наверное, это лесные звери, – неуверенно говорит Грег, – волки или медведи… вы же видели Сэма?

Горло Сэма было разорвано, голова едва держалась на лоскуте кожи и кровавом, обнажившемся позвоночнике. Черты искажены гримасой боли, хорошо знакомой любому, кто закрывал глаза другу, заживо выпотрошенному осколком гранаты… гримасой боли и нечеловеческого ужаса.

– Медведи тут ни при чем, – говорит Томми, – это немецкий зазубренный штык. Мы же знаем, они специально такие делают!

Это правда: мы ненавидим зазубренные немецкие штыки. Если кто попадает к нам в руки с таким штыком, мы приканчиваем его этой же пилой. Чтобы знал.

– Вспомните Орельена, – продолжает Томми. – Его что, тоже медведь задрал?

Какой там медведь! Орельену одним ударом перерезали сонную артерию. Его мертвое лицо было спокойно; казалось, он даже доволен, что все кончилось именно так.

– Я ему немножко завидую, – говорит Серж.

Голос его дрожит.

Мы знаем, что надо отступать, но не можем заставить себя тронуться с места.

Сколько дней мы уже здесь? Два? Три? Пять? Неделю?

– Я думаю, это ловушка, – говорит Томми, – немцы оставили отравленную еду. Вспомните: сначала кошмары, потом слуховые галлюцинации, потом упадок сил…

– Я знаю, в чем дело! – говорит Грег. – Это хлеб! Хлеб со спорыньей! Я читал статью профессора фон Малхина. Грибок спорыньи вызывает видения. Все религиозные войны, все народные волнения – все совпадает с периодами активности этого грибка. И хлеб, который мы ели, – он наверняка был заражен.

– Ерунда, – говорит Томми, – нас специально отравили! Сегодня ночью они придут, чтобы зарезать нас спящих. Ну нет! Я сам буду стоять на часах!

Томми выходит, но никто из нас не спит. Лежа на койках, мы слушаем тихое шипение, заполняющее блиндаж.

– Теперь вы все слышите, да? – говорит Джеймс. – А я думал, я схожу с ума.

Мы молчим. Каждый держит под рукой фонарик, лопатку и гранаты – почти как в ту давнюю ночь охоты на крыс.

Изредка снаружи доносится хлюпанье – это Томми переступает с ноги на ногу в жидкой грязи. Но даже этот звук не может отвлечь нас от гипнотического, всюду проникающего шипения.

– Я понял, – вдруг говорит Грег, – это туман. Эти звуки издает туман, вот почему они везде!

Серж включает фонарик, луч затухает, не пройдя и метра: в самом деле, блиндаж наполнен туманом.

– Что за черт! – говорит Серж, но тут раздается истошный крик Томми. Схватив оружие, мы бежим к выходу – и застываем в проеме.

Должно быть, луна вышла из-за туч – вся равнина освещена тусклым мертвенным светом. Туман клубится, словно театральный занавес, обрамляющий сцену: Томми конвульсивно дергается в грязи, две фигуры склонились над ним. Доносится тихое рычание, а потом один из убийц поднимает голову.

Лицо сияет лунной белизной, перепачканный кровью рот приоткрыт, из-под верхней губы торчит пара острых, как у волка, клыков.

– Вы не узнаете меня, ребята? – спрашивает он. – Это же я, Орельен! Серж, ты меня узнаешь? Иди ко мне, настала пора валить с этой войны. Париж ждет нас. Девушки в коротких юбках. Кафе Монмартра. Шикарные бордели. Помнишь, а? Пойдем отсюда!

Джеймс хватает Сержа за плечо. Грег, выставив перед собой наточенную лопатку, бросается к Орельену – и чудовище, еще вчера бывшее нашим товарищем, одним прыжком сбивает Грега с ног. Тот, падая навзничь, беспомощно взмахивает руками, а потом Орельен впивается ему в горло.

– Сдохни, гадина! – кричит Серж и бросает гранату, но второй монстр ловит ее в воздухе, с нечеловеческой ловкостью перепрыгнув через копошащихся в грязи Грега и Орельена.

Взрыв на мгновение оглушает нас.

Мы приходим в себя на земляном полу, вход в блиндаж засыпан. Нас только двое: Грег остался снаружи, до нас глухо доносятся его предсмертные крики.

Серж опускается на колени и складывает ладони. Джеймс подходит к смотровому отверстию.

Перед ним расстилается поле – ровное, как шахматная доска. Клочья тумана скользят недовоплощенными призраками. На мгновение Джеймс видит высокого старика, чисто выбритый подбородок, длинные седые усы. Старик одет в черное, в руке держит горящую серебряную лампу, он идет прямо к блиндажу, но, сделав несколько шагов, растворяется в сером тумане.

– Отче наш, иже еси на небесех! – шепчет на незнакомом языке Серж. – Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Джеймс передергивает затвор винтовки и готовится принять бой.

* * *

Вечером, ложась в кровать, мальчик всегда просил не закрывать дверь. Перед тем как уснуть, он долго смотрел на пересекающую пол косую полосу света. Он боялся темноты и знал об этом.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Что может скрываться в темноте? Он хорошо знает свою комнату – все игрушки, все книги, два стула, кресло, стол, кровать.

Нет, он не знал, что прячется во тьме, – и поэтому боялся еще больше.

Мальчик знал, что когда он заснет, мама погасит свет, – и больше всего боялся проснуться ночью, когда в доме все спят и в комнате – тьма, та самая, кромешная, хоть выколи глаз.

Но той ночью, когда он и в самом деле проснется, будет светло. Огромные оранжевые круги один за другим вспыхнут на занавесках. И лишь когда следом за ними придут раскаты

грома, мальчик поймет, что это всего лишь гроза. Он расслышит неуверенный шум дождя – но молнии будут сверкать одна за другой, и удары грома сольются в канонаду.

Он будет лежать неподвижно, не в силах пошевелиться, не в силах крикнуть, не в силах позвать на помощь. В комнате будет так светло, что он зажмурится, но и сквозь закрытые веки молнии будут вспыхивать яркими кругами, расцветать концентрическими кольцами.

Эта ночь, ночь чистого света, будет такой страшной, что он запомнит на всю жизнь – мерцающее электричество небес, умножающееся эхо грома, одиночество детской кровати.

6
1985 год
У закрытых дверей

Лужа у подножья лестницы сверкнула в глаза отражением весеннего солнца.

– Быстро отстрелялись, – сказал Пашка, придерживая перед Зоей массивную дверь факультета.

– А все потому, что этих придурков не было, – сказал Дэн, выходя следом.

«Придурки» – это Сойкин, Лейкин и Гнедко, трое иногородних членов комсомольского бюро курса. Вот кто способен часами обсуждать самый простой организационный вопрос! Временами кажется: они и в самом деле верят в то, что несут, – а если так, место им в витрине Музея Революции, а не в составе комсомольского бюро, где, в общем-то, собрались нормальные, понимающие ребята.

К счастью, сегодня все трое остались в общаге (не то отравились домашними грибами, не то мучаются внеплановым похмельем), так что заседание, посвященное подготовке к сорокалетнему юбилею Великой Победы, удалось завершить в рекордные сроки.

Пашка, взмахнув на прощанье черным венгерским «дипломатом», побежал к метро, а Зоя, взяв Дэна под руку, пошла к главному зданию, обходя лужи.

– Заедем ко мне? – спросила она. – Родители сегодня придут поздно.

– Я бы с радостью, зайка, – ответил Дэн, – но, увы, у меня дела в ГЗ.

– Хочешь, я подожду? – спросила Зоя и порозовела.

Она легко краснела – Дэн находил это трогательным и нарочно поддразнивал, чтобы увидеть, как цвет Зоиных щечек меняется в диапазоне от бледно-розового до почти революционного ярко-красного. Но сегодня у Дэна были другие планы: после четвертой пары он договорился встретиться с Кирой.

Они познакомились пару недель назад на слете КСП, где Кира буквально упала ему в руки: подходя к костру, зацепилась за корень и рухнула бы в огонь, если бы Дэн ее не поймал. Мягкая грудь угодила Дэну ровно в ладонь, и по всем драматургическим законам им бы тут заодно и поцеловаться, но следом за Кирой к костру вылез какой-то здоровенный лоб, смутно знакомый по кусту «Разгуляй». В его палатку Кира и отправилась минут через сорок. Дэн просидел у костра еще час – ждал, пока Машка Шапиро вдоволь наслушается Щербакова и напьется глинтвейна. В какой-то момент, между «Крымом» и «Баб-эль-Мандебским проливом», он услышал из разгуляевской палатки громкий и протяжный вскрик, а еще минут через десять, когда они с Машкой уже уходили, Кира вылезла к костру и хрипло попросила чаю, *можно и холодного.*

В этом было какое-то волнующее бесстыдство – и даже Машка Шапиро не могла заставить Дэна забыть низкий утомленный голос, ночные стоны и податливость Кириной груди в его ладони. Но утром ни Киры, ни ее спутника уже не было: только небритые мужики лениво перебирали струны, пытаясь выразить похмельную тоску песнями, сочиненными двадцать с лишним лет назад. Эти песни казались им истинным воплощением духа времени – вероятно, потому, что время еще до их рождения застыло на месте. Конечно, кто-то из них вспомнил Кирину фамилию, и за неделю Дэн узнал, что она учится на геофаке, услышал пару сплетен, распаливших его воображение, и в конце концов добыл ее телефон.

До конца четвертой пары оставалось еще полчаса. Посадив Зою в автобус, Дэн припустил по ступеням монументальной лестницы главного здания, едва не сбив с ног Митю, спускавшегося навстречу.

– Куда спешишь? – мрачно спросил Митя. – Студенческий с собой?

Дэн сунул руку в карман джинсовой куртки.

– Дома, – сказал он, – но я обычно в ГЗ так прохожу.

– Ну, попробуй, – ухмыльнулся Митя. – Там сегодня вохровцы совсем оборзели, всех разворачивают.

– Ну и ладно, – сказал Дэн, – я тогда здесь подожду. Будешь? – И он достал пачку «Космоса».

Они закурили, отойдя к постаменту, на котором молодая каменная колхозница, сжимая в горсти колосья, осеняла своими необъятными прелестями все новые и новые поколения студентов. Рядом с ней, опираясь на глобус, стоял юный ученый – может, рассказывал, где еще можно собрать рекордный урожай зерновых.

Хорошо, что мы с Кирой договорились встретиться снаружи, подумал Дэн. Пара закончится – она как раз сюда и придет.

– Какое это все-таки гадство, – сказал Митя. – Угораздило нас учиться в единственном университете в мире, где вход охраняет полиция? Не храм науки, а зона какая-то! Недаром его зэки строили!

Дэн взглянул на ГЗ. Кто бы его ни построил, получилось красиво – особенно сейчас, когда апрельское солнце окрашивало шершавый камень стен в теплый цвет Зоиного румянца.

– Питер вот тоже на костях стоит, – сказал он, – и ничего. Люди всё забывают.

– Сравнил тоже, – ответил Митя, – это ж тебе не Зимний дворец. Его взорвать – я ни секунды жалеть не буду.

Дэн пожал плечами. Он хотел было сказать, что солнце, свет и камень всегда прекрасны – даже если камни уложены рабами, – но его заломало спорить.

– Ну, взорвать – это ты зря, – сказал он, – все ж таки памятник эпохи.

– Ну да, – ответил Митя, – вроде «Воронежских тетрадей».

Мандельштама Дэн не читал, поэтому только кивнул одобрительно.

– И, главное, менты! – кипятился Митя. – В Париже в мае 1968 года студенты возмутились, что их не пускали в общагу к девчонкам! Весь город раком поставили! А если бы их в Сорбонну полицейские не пускали – представляешь, что бы началось?

На лектории школы комсомольского актива Дэн что-то слышал про шестьдесят восьмой год. В основном речь шла, конечно, о «пражской весне»: докладчик с нажимом повторял, что, если бы не наши танки, в Чехословакию вошли бы войска НАТО. Дэн нагнулся к Зое и прошептал: *Не повезло им, зайка, а? Застряли бы наши танки в болоте – вот бы у чехов жизнь была!* – но Зоя только покраснела.

– Ну, если б меня в общагу к девчонкам не пускали, я б тоже бунтовал, – сказал он.

– Ага, – усмехнулся Митя, – как же! Ты в лучшем случае поставил бы вопрос на комсомольском бюро!

Дэн засмеялся:

– Зря я, что ли, там заседаю второй год? Должен же мне от этого быть какой-то навар!

Навар Дэна составлял разницу между обычной и повышенной стипендией: на химфаке повышенную давали только комсомольским активистам. Дэн выяснил это на первом курсе и, решив, что лишняя десятка в месяц ему не повредит, сделал выводы.

Дэн вообще любил деньги. Недаром, когда ему было пять, любимой его книжкой было детское переложение мифа о Язоне и золотом руне.

– Знаешь, – сказал Митя, – мне иногда противно, что мы все такие… вялые. Студенты должны бунтовать, бороться… я вот представляю себе какого-нибудь француза из мая 68-го. Для него наша жизнь – это был бы чистый кошмар.

– Мог бы цифры перевернуть и написать антиутопию, – сказал Дэн. – «1986», типа как Оруэлл.

– А ты читал? – взволновался Митя.

– Конечно! Прикольная книга. За нее вроде срок дают – как за Солженицына.

Митя присвистнул и бросил окурок. Тот, шипя, погас в мелкой луже.

Интересно, думал Дэн, в самом ли деле эта Кира такая отвязная, как говорят? Может, прямо сегодня и узнаю.

Митя снова закурил, прикрывая огонек ладонью.

– Хотел бы я сейчас оказаться в Париже, – сказал он. – Или в Буэнос-Айресе.

– Любишь Кортасара? – спросил Дэн.

Сам он не сомневался, что попадет и в Париж, и в Лондон, а если захочет, то и в Буэнос-Айрес. Все-таки сейчас не тридцатые, если знать правила – можно неплохо устроиться. Пойти, скажем, работать в «Станкоимпорт» – вон, Пашкин папа из командировок не вылезает.

– Кортасара тоже, – ответил Митя, – но Борхес, конечно, круче.

Дэн кивнул. О Борхесе он слышал впервые. Надо будет как-нибудь почитать, подумал он и стал прикидывать, у кого из знакомых девчонок мог бы быть этот самый Борхес. Или у Мити попросить, раз он так его любит?

Дэн посмотрел на Митю: тот по-прежнему стоял насупившись, недовольно поблескивая очками.

– Вот суки, – буркнул он, видимо, опять вспомнив охрану.

– Да забей ты на них, – сказал Дэн, – нормально все. Солн це светит, весна пришла. Чего тебе еще надо? Чего еще хочется?

Митя задумался.

Вот черт, сказал себе Дэн, на хрена я его спросил?

Ведь опять заладит про Париж и Буэнос-Айрес. Фиг объяснишь, что где угодно можно быть счастливым и свободным. А если ты сам свободен – то и мир вокруг подстраивается под тебя. И свобода эта начинается не с того, чтобы ходить в ГЗ без студенческого, – она начинается с уверенности в том, что у тебя есть право на то, что ты хочешь. Трахнуть всех телок. Объехать весь мир. Забрать себе все деньги. Это твое желание и меняет мир. Поэтому у Пашки все хорошо. И у меня все хорошо. Даже у Зойки. Пошел бы я к ней – нам было бы хорошо вместе. А сейчас Кира придет – будет хорошо вместе с ней. А если она мне еще и даст прямо сегодня – так вообще отлично. А не сегодня – так в другой раз. А не она – так другая герла.

– Я хотел бы написать роман, – сказал Митя.

– Роман? – растерялся Денис. – Про что? Про все вот это?

Он обвел рукой широкую лестницу, сбегавшую к небольшой площади, где раз в пятьдесять минут появлялся автобус, подбиравший с остановки студентов, разъезжавшихся по домам или в общагу на Бутлерова.

– Нет, – сказал Митя, – про вот это неинтересно. Я хочу написать такую модернистскую книгу, ну, как пишут сейчас в Америке… такие рассказы, превращающиеся друг в друга, такой современный «Декамерон» или, скажем, «Тысяча и одна ночь». Чтобы действие происходило в разных странах, в разные годы. Скажем, сто рассказов про сто лет истории.

– Типа «Ста лет одиночества»? – спросил Денис.

– Не, по-другому. Никакого магического реализма. У каждой истории – своя дата, свое место, свои герои. Начинаться все будет в 1885 году…

– И что же случилось интересного в 1885 году?

– Много чего, – ответил Митя. – Например, наши первый раз влезли в Афган.

– Да ну? – удивился Денис. – А я думал, шесть лет назад…

– Нет, первый раз – сто лет назад. Битва на реке Кушка, до сих пор самая южная точка СССР, по географии в школе проходили.

– Я как-то пропустил, – пожал плечами Денис. – А еще чего?

– В 1885-м? – переспросил Митя. – Еще Ницше написал «Так говорил Заратустра». Там он провозгласил смерть Бога.

– А ты читал «Заратустру»? – оживился Денис.

Митя отвел глаза: он не читал Ницше, как и Джорджа Оруэлла.

– Нет, – честно сознался он, – но у меня много теоретических знаний.

Денис засмеялся:

– И как ты про это все хочешь написать? Типа русские солдаты на привале читают Ницше?

– Нет, зачем? – Митя даже обиделся. – Надо же работать с метафорами. Я напишу, как умирает богатый старик, ну, типа Артемио Круса у Фуэнтеса. У него вся власть, все деньги – но он все равно умирает.

– А потом, – вдохновенно подхватил Денис, – оказывается, что это не 1885-й, а 1985 год и этот старик – Черненко.

Дэн хорошо помнил день смерти генсека. На бюро курса отмечали 8 Марта, Зоя как бы между делом сказала, что родители всю неделю в командировке, и через пару дней Денис уже звонил ей в дверь, с бутылкой «киндзмараули» в руках и индийским «изделием номер два» в кармане джинсов. Вино быстро закончилось, пришлось разыскать спиртовую настойку, спрятанную Зойкиным отчимом на антресолях. Следом пришел черед «кохинора».

Проснувшись утром, Дэн посмотрел на спящую девушку. Ресницы чуть вздрагивали, и хотя приоткрытые губы опухли от поцелуев, она казалась совсем маленькой, почти невинной. Дэн глядел на Зою, и ему казалось, что вчерашние слова любви вдруг оказались правдой, а не частью ритуала, предварявшей борьбу с застежкой лифчика и тугими джинсами. Рыжие волосы разметались по подушке, и Зоино лицо будто освещало солнце – тайное солнце, неведомо откуда взявшееся в этот пасмурный день, секретное, как «почтовый ящик», где работал Зоин отчим.

Дэн пошел на кухню сварить кофе, включил дефицитный литовский «Шилялис»: по всем каналам передавали бесконечный концерт классической музыки, тоскливый, как школьная политинформация. Глас ударных и смычковых заполнял эфир, звук вставал за звуком, сплетаясь в зыбкий полог утренней посткоитальной меланхолии. Дэн подхватил поднос с двумя чашками «арабики» и вернулся в комнату, где сонно ворочалась в постели теплая Зойка. Она открыла глаза, и Дэн, поставив поднос на тумбочку, нырнул под одеяло.

Когда они закурили по первой сигарете, Зоя, краснея, сказала: «Никогда не занималась этим под Шопена», – и Дэн сначала подумал: «Ах, значит, это Шопен, вот как! Вот что значит музыкальное образование!» – и только потом, сообразив, в чем дело, произнес свое «Ага!» – и оказался прав: это был не Громыко, не Тихонов, не Гришин, а сам Константин Устинович Черненко, пробывший генсеком ровно год и двадцать пять дней.

Дэн посмотрел на часы и снова закурил. До конца пары еще пять минут. Пока Кира спустится, пока выйдет…

Сизый дым вился в вечернем воздухе, подсвеченный заходящим апрельским солнцем. Дэн посмотрел туда, где на автобусной остановке стояли три девушки. Ветер трепал их волосы, графичным росчерком взвивая над головой черные, белые и огненные пряди: Дэн сразу прозвал их Блондинкой, Брюнеткой и Рыжей.

– Да хер с ним, с Черненко, – отмахнулся Митя. – Там будет много историй, которые сочиняют люди, – и внимательный читатель может за их сюжетами увидеть что-то про отношения рассказчиков. То есть это будут одновременно метафоры реальных исторических событий – ну, как с Ницше – и рассказы про персонажей, переходящих из главы в главу, из рассказа в рассказ. Даже не про персонажей, а про пятерых, которые все это рассказывают. Про их отношения, любовь или, скажем, ревность… И все герои – это только отраже-

ния рассказчиков, а все истории – что-то вроде покрывала, накинутого на настоящих героев-рассказчиков. И все узоры, складочки и прочее – только отображение того, что происходит под этой простыней.

– Ну ты загнул, – восхищенно сказал Дэн. – Герои у тебя, значит, резвятся, а читателю достается только колыхание простыни.

(А про себя договорил: как будто сидишь у костра и слышишь, как другие по палаткам трахаются.)

– На самом деле, – строго сказал Митя, – вся литература именно так устроена. Текст – это и есть секс в чистом виде. Неслучайно «текстуальность» звучит похоже на «сексуальность».

– А мне всегда казалось, что секс – это про потрахаться, – ответил Денис, – а книжки – чтобы в метро ездить скучно не было.

111-й автобус отошел от остановки, но три девушки остались: видимо, им нужен был 119-й или 661-й. Они сели на скамейку, брюнетка достала из сумочки сигареты, они закурили.

– Борхес пишет, что реальность скучна, – сказал Митя, – а вот вымысел может себе позволить быть интересным. Потому всё лишь подражает искусству, а литература всегда важнее жизни. Вот ты – что сейчас делаешь?

Жду Киру, подумал Дэн и ответил:

– Разговариваю с тобой.

– Вот это и есть твоя реальность. А теперь посмотри туда, – и Митя махнул рукой в сторону остановки. – Видишь, три девушки? Сейчас они сядут на автобус, и мы их больше никогда не увидим. В романе мы могли бы подойти к ним, познакомиться и переспать.

– В твоем романе, – заметил Дэн, – мы бы впятером рассказывали друг другу истории ночь напролет.

– Несколько историй я могу рассказать тебе прямо сейчас, – сказал Митя. – Хочешь, про этих трех?

Дэн посмотрел на часы – Кире пора бы уже появиться. Вдруг она ждет внутри?

– Ну, расскажи, – сказал он. – Начинай с брюнетки.

– Хорошо, – кивнул Митя. – Значит, брюнетка… на самом деле она иностранка. Она приехала в Москву учиться, потому что ее родители сочувствуют коммунистам и вот отправили ее сюда. Вернувшись, она порвет с просоветскими родителями, примкнет к радикальному левацкому подполью, но потом образумится, выйдет замуж, нарожает детей. Много лет спустя, постаревшая, она будет стоять на берегу моря, и вечерний бриз, как и сегодня, будет развевать ее волосы – такие же черные, но уже крашеные. Глядя на волны, она будет думать, что жизнь прошла, старость неизбежна. Волны будут лизать ее ноги, а она будет вспоминать, что когда-то, много лет назад, в далекой стране любила одного мужчину… она больше никогда не встречалась с ним, даже не знает его адреса. Солнце садится, становится холодно, по песку она идет к своей машине и возвращается домой.

– Теперь блондинка, – сказал Денис.

– Она забеременеет через год, – быстро сказал Митя, – от мужчины, которого будет боготворить. Но ничего ему не скажет, потому что… потому что будет считать, что он слишком хорош для нее. И она побоится, что он решит, будто она нарочно залетела. У нее родится мальчик, разумеется, немного похожий на отца. Играя с сыном, она станет вспоминать тот вечер, когда встретила этого мужчину, – и год за годом будет наблюдать, как мальчик растет и все больше и больше становится похож на того, кого она когда-то любила. Однажды, глядя на юношу, входящего в комнату, она вдруг поймет, что его отец давно состарился и потерял всю былую красоту, – и задохнется от нежности… нет, от счастья, что сумела обмануть время, сохранив свою любовь нетронутой.

– Рыжая, – сказал Денис.

– Она легко сходится с мужчинами, секс для нее – веселая игра. Вот она лежит в постели со случайным любовником, они только что занимались сексом, а теперь курят, уставшие и довольные. Она стряхивает пепел в блюдечко и просит рассказать какую-нибудь историю. И любовник – уже не очень молодой мужчина, опытный, знающий толк в женщинах и сексе, – сочиняет историю про двух студентов, которые весенним вечером стоят на ступеньках главного здания МГУ, куда их не пустили менты. Они рассматривают студенток на остановке, и один рассказывает, что случится с этими девушками дальше. А другой говорит: «Да, твои истории лучше, чем жизнь».

Дэн рассмеялся.

– Твои истории не лучше, чем жизнь, – сказал он, – но они прикольные. В самом деле, напиши свою книжку, у тебя получится. Только выкини из головы, что текст и секс – это одно и то же. Секс – вообще про другое.

– Про что? – спросил Митя. – Про сиськи, жопу и манду?

Ветер трепал волосы девушек. Блондинка придерживала рукой подол платья, брюнетка бросила окурок на землю и растоптала каблуком высокого, почти до колена, сапога. Рыжая сидела, закинув ногу на ногу: на ней была самая короткая юбка, и не зря – ноги очень хороши. Она улыбалась, и Дэну казалось: она смотрит на него.

– Нет, – сказал он, – секс – это про живую девушку рядом. Про то, как она дышит, как говорит… про запах… про ее тело, до поры до времени скованное и укутанное одеждой.

Митя пожал плечами:

– Все, что ты говоришь, – тоже текст. Я бы даже сказал – только текст.

Подъехал автобус, и девушки поднялись. Миг – и они скроются навсегда.

– Послушай, – сказал Дэн, – а ты вообще спал с кем-нибудь?

Митя отвел глаза.

– Если честно, нет, – сказал он. – Зато у меня много теоретических знаний.

– И ты мечтаешь написать книжку? Я бы посоветовал тебе другую мечту, попроще.

Попроще – это что? – спрашивает Митя, но тут из неприступных дверей появляется наконец Кира, машет рукой, кричит *привет!* – и тут же оказывается, что она знакома с Митей, то есть он ее не помнит, а она его – вполне, они вместе были на каком-то концерте, а ты с Дэном на одном курсе, ой, как интересно! а у тебя что – «Космос»? нормально! дашь сигаретку?

Дэн протягивает пачку, и еще некоторое время все трое глядят на сизые кудряшки дыма и разговаривают о чем-то – может, ищут общих знакомых, может, рассказывают анекдоты или травят байки.

Главное здание возвышается над ними – неколебимое, как Советский Союз, безнадежное, как «Воронежские тетради».

Потом Митя одиноко бредет к метро и думает: что значит – мечта попроще? Это Дэн про секс, что ли? Так написать роман куда проще, чем соблазнить девушку! Куда проще вообразить себя писателем, чем представить, что лежишь рядом с женщиной, целуешь грудь, гладишь бедра, приникаешь к ее сокрытым вратам…

Я плохо одетый некрасивый очкарик, думает Митя. Мне почти восемнадцать, а я ни разу даже не целовался. Как я могу соблазнить женщину? Кто соблазнится мной?

Он бросает окурок и внезапно видит всю свою одинокую жизнь на годы вперед, видит ясно, словно с высоты птичьего полета, словно сам взлетел в небо, и будущее распахнулось, как пейзаж – и вот он парит над тоскливым летом, дождливой осенью, холодной зимой восемьдесят пятого года, парит над тысяча девятьсот восемьдесят шестым, годом-перевертышем, парит над всеми грядущими восьмидесятыми и девяностыми, неотличимыми друг от друга, одинаковыми, как осенние дни, как будни страны, где остановилось время.

Митя еще не знает: «68» все-таки перевернется и превратится в «89» – год окончания Афганской войны, падения Берлинской стены, Бархатной революции, Съезда народных депутатов, площади Тяньаньмэнь, вторжения в Панаму, английских рейвов и юбилейного фестиваля в Вудстоке.

Он ничего об этом не знает, ничего не знает о своем будущем.

Вечером Дэн возвращается домой, вспоминает попытки поцелуев в Кирином подъезде, то, как решительно она отводила его руку, рвавшуюся снова, как у костра, обхватить ее грудь, вспоминает, как, стоя на лестнице, Кира улыбалась Мите, то и дело дергала за рукав, заглядывала в глаза.

Дэн думает: да, упустил Митя свой шанс! Будь он понаблюдательней – у него-то был бы секс прямо сегодня. Кира, видать, на него всерьез запала. Но что же, интересно, она в нем нашла? Сразу же видно – любовник он безмазовый. Ну, и я, конечно, тоже дурак, надо было к Зое идти, лучше, что называется, синица в руке! Впрочем, Зоя никуда не денется, да и Кира, может, еще дозреет.

Дэн уверен: все у него еще сложится, все получится. Всё будет хорошо у него – и у других ребят: у Пашки, у Саши, у Зои, у Киры… даже у Мити! В конце концов, мы молоды, будущее принадлежит нам – может, этого будущего и не хватит на всех, но Митю мы с радостью возьмем с собой. Наберу завтра Киру, дам ей телефон, пусть сама позвонит, пусть трахнет своего Митю, вот будет ему счастье. А мне пускай принесет почитать этого, как его, Борхеса – посмотрим, чем так хорош вымысел!

Дэну куда интересней реальность – у него ведь вся жизнь впереди, и она видится ему калейдоскопом желанных, волнующих картин.

В дорогом костюме он сидит в кресле трансатлантического лайнера. Вместе с красивой спутницей входит в люксовый гостиничный номер. В изысканном ресторане на краю света заказывает экзотическую еду. В вестибюле отеля дает интервью и подмигивает самой симпатичной журналистке. С красавицей-женой и двумя очаровательными малышами спускается по роскошной лестнице собственного дома. В обитом дубовыми панелями кабинете ведет переговоры – где-то в Париже, Нью-Йорке, Лондоне…

Жизнь только начинается – и Дэн глядит вперед, словно герой, отплывающий в долгий путь за предназначенным ему одному золотым руном.

* * *

Теперь ты знаешь: воспоминания тоже выцветают, блекнут, идут пятнами, покрываются морщинами… в конце концов – обращаются в ничто. Первой уходит сладость побед: память об удачных сделках, успешных переговорах, полученных наградах. Некоторое время еще помнишь сухие факты, горделивые строчки официальной биографии – но вот исчезают и они.

Потом распадутся все связи, разорвутся все нити, удерживающие воспоминания вместе… расползутся, как сгнившая ткань под пальцами. Одинокие эпизоды твоей жизни больше не будут привязаны ни к году, ни к городу, ни к человеку.

Люди уйдут следом – сначала имена, потом лица, потом голоса… уйдут навсегда, чтобы ты забыл, кем они были когда-то: те, кого ты любил, боялся, ненавидел; кого хотел понять, защитить, низвергнуть…

Последняя горсть воспоминаний – словно связка волшебных воздушных шаров. Вцепившись в них, ты попробуешь удержаться на плаву, попробуешь не утонуть в горько-сером море забвения, но потом поймешь, что это не шары, а всего лишь мыльные пузыри, прекрасные и эфемерные. На их переливчатой поверхности память последний раз покажет тебе волшебные картины твоей – а может, чужой? – жизни: горные склоны сверкнут

на солнце, словно грани гигантского алмаза… ощетинившийся шпилями собор отразится в воде, захлестнувшей город… двое путников у закрытых ворот… двое мальчишек у запертых дверей… немолодой мужчина у окна, заложив руки за спину, будет сжимать и разжимать кулаки… ты не успеешь рассмотреть, пузыри лопнут один за другим, оставляя лишь радужный отблеск, возвращая тебя в тот день, когда ты увидел их впервые, когда захотел сохранить на ладони колышущийся, трепещущий шар, где отражалась залитая утренним светом комната, молодая женщина и ее ребенок.

7
1893 год
Толкование сновидений В поисках золотого руна

Для Эндрю Бродхеда пребывание в Европе всегда означало свободу. В Европе ему казалось – он ни с кем не должен считаться. Конечно, это самообман – несколько раз в день он обменивался каблограммами с офисом в Филадельфии, получал распоряжения или подтверждения своих решений (последнее – с каждым годом все чаще), – но все равно: когда Бродхед здесь, в Лондоне, никому неведомо, чем именно он занят. Считалось, что в обитых дубовыми панелями кабинетах Ллойда или Ротшильда он ведет сложные переговоры о предоставлении «Международной навигационной компании» очередного кредита, – но на самом деле он мог в этот момент выбирать Норме новые перчатки в Берлингтонском пассаже, сидеть в ложе театра Сент-Джеймс, наслаждаясь язвительной пьесой Оскара Уайльда, или играть в бридж в «Сэвил-клубе».

Сейчас Бродхед стоял у серого прямоугольника окна, заложив за спину жилистые сильные руки. В стекле отражалась его сухощавая, несколько нескладная фигура: мужчина среднего роста, и, скажем прямо, довольно средних – сорока пяти – лет. Наблюдатель прежде всего обратил бы внимание на его густые темные усы, типично американского образца, пышно растущие и низко свисавшие, и шапку волос, пока еще обильных, но сильно пронизанных сединой. Однако в этот час наблюдать за Бродхедом было некому, он был в комнате один и напряженно всматривался в окно, выходящее на тихую лондонскую улицу. Он явно ждал кого-то, то и дело нервно сжимая и разжимая пальцы.

Пробежала по лужам мокрая собака, прихрамывающая на левую заднюю ногу; прошел, поглядывая по сторонам, полицейский в нелепой, такой британской шляпе; прогромыхал на высоких колесах кэб – и остановился. Из окна Бродхед не мог различить женскую фигуру, покинувшую экипаж, но, услышав на лестнице стук каблуков, поспешил к двери – и открыл даже раньше, чем постучали.

Дама была одета по моде того времени: длинное фиолетовое платье, узкое, без турнюра. Цвет заставил Бродхеда улыбнуться – он никак не мог привыкнуть к этой новой лондонской моде. В Филадельфии по-прежнему считали, что одежда должна быть темной или, наоборот, крахмально-белой, – но вот в Лондоне уже давно носили цветные чулки, а теперь добрались и до цветных платьев.

Элизабет Темпл, двоюродная внучка умершего восемь лет назад Барона Джи, откинула вуаль, только когда дверь закрылась за спиной. Бродхеду показалось, что на первый взгляд Элизабет почти не изменилась с прошлой встречи – впрочем, он не всматривался: едва темная паутинка вуали взлетела на поля шляпки, Бродхед обнял гостью и поцеловал, вдохнув тонкий аромат парижских духов.

– Ты взяла кэб на вокзале?

– Нет, от ближайшей станции метро.

– Вы будете смеяться, миссис Темпл, но мне все еще неуютно спускаться под землю… все там будем, куда торопиться?

– Удивительно, что в Америке нет метро. Говорят, у вас прогресс и все такое…

– Неправда! В Нью-Йорке есть метро! Но оно не прячется под землей!

– Это потому, что земля у вас дешевая и можно потратить ее на рельсы, шпалы и станции.

– Земля подорожает, не беспокойся. Но я все равно предпочитаю кэб.

– Метро современней. И быстрее. В Лондоне такие пробки, особенно зимой! Да кроме того, в метро одинокая женщина привлекает меньше внимания.

Пока они разговаривают, Бродхед помогает Элизабет раздеться: опустившись на колени, расстегивает пуговки на высоких ботинках, потом доходит очередь до кожаного пояса, плотно облегающего талию, английской булавки, которой юбка крепится сзади к блузе, самой юбки, галстука и накрахмаленного воротничка… Повесив фланелевую блузку на спинку стула, Элизабет остается в длинной шерстяной рубахе, почти доходящей до пола, и шелковой нижней юбке. Под ними – белоснежный хлопчатобумажный корсаж с вышивкой, пуговичками и кружевами. Улыбаясь, Элизабет расстегивает пуговицы, Бродхед бережно берет у нее из рук корсаж, тоже кладет на стул.

Теперь на его гостье остались панталоны, сорочка и темно-синий, украшенный тесьмой корсет. *Помоги мне*, говорит Элизабет с едва заметной улыбкой, но Бродхед уже стоит у нее за спиной, расстегивая крючок за крючком, а потом развязывает завязки панталон, и две их части хлопчатобумажной пеной падают к ее ногам. Следом за ними отправляется сорочка, и Элизабет поворачивается к своему любовнику. На ней – только нижний лиф, переходящий в пояс, и привязанные к нему прозрачные шелковые чулки. Взгляд Бродхеда невольно устремляется туда, где светлые кудри скрывают розовую расщелину, источник желания и наслаждения…

Семь лет назад, в 1886 году, Эндрю Бродхед приехал в Лондон разобраться с долгами «Инман Лайн». После смерти старого Уильяма Инмана компания, похоже, шла неверным курсом – точь-в-точь как принадлежащий ей пассажирский лайнер «Брюссель», который в 1883-м столкнулся с другим пароходом и затонул. Та же судьба грозила самой «Инман», вот Бродхед и явился, чтобы стребовать долги до того, как волны сомкнутся над палубами некогда величественного судна. Недели хватило, чтобы додавить директоров: «Инман» была объявлена банкротом, «Международная навигационная компания» получила их активы в уплату за долги, и довольный Клемент Гриском, вице-президент «МНК», первым же пароходом приплыл в Ливерпуль, где объявил, что совместно с «Филадельфийскими железными дорогами» они вложат по два миллиона долларов, чтобы построить суда, способные оставить далеко позади «Кунард» и «Белую Звезду» – основных конкурентов «Инмана».

Арчибальд Темпл был представителем лондонского банка, выступавшего со стороны старого «Инмана». Вероятно, несмотря на напряженный ход переговоров, он счел их результат вполне благополучным – и в один из последних дней пригласил Бродхеда в загородное имение.

Там Элизабет и увидела его. Она гуляла в саду, когда поджарый американец вышел из коляски и, прижимая к бедру черную дорожную сумку, быстро зашагал по лестнице. Он бросил на Элизабет мимолетный взгляд, но, пройдя еще пару ступеней, остановился и обернулся.

Стоял июль, и яркий солнечный свет заливал все вокруг, растворяя строгий английский парк и превращая его холодную упорядоченность в теплый первозданный хаос, бесструктурный хаос изначальных страстей, вожделения и желания. И среди этой изумрудной зелени, утонувшей в небесном свете, хрустальной свечой замерла одинокая женская фигура.

Мгновение Бродхед стоял неподвижно, и Элизабет показалось, что по его лицу пробежала легкая тень, – и в свою очередь он увидел, как ее черты исказились в ответ, словно отражение в воде, потревоженное рябью.

Через два дня они сидели друг против друга за столиком с зажженными свечами под розовыми колпачками, и эти розовые колпачки, маленький столик и тонкий аромат, исходивший от Элизабет, – такой тонкий, какого Бродхед еще никогда не вдыхал, – все это стало для него штрихами невыразимо возвышенной картины. Платье с низким вырезом, открывающее грудь и плечи; облегающая шею широкая пунцовая бархотка со старинным кулоном;

полуулыбка на сухих губах и светлые волосы, убранные по последней лондонской моде, – все это завладело воображением Бродхеда, и, нарушая все писаные и неписаные правила ведения дел, он сказал Элизабет:

– Я хотел бы спросить вашего совета, миссис Темпл… я купил жене перчатки и кружево, но не знаю, достаточно ли они хороши.

– И где же они? – спросила Элизабет все с той же полуулыбкой.

– В гостинице, недалеко. У меня в номере.

– Показывайте, – кивнула она и поднялась.

Портье проводил их недовольным взглядом. Открывая дверь в номер, Бродхед успел подумать, как сильно они рискуют, – и на ближайший час это была его последняя мысль.

– Мне приснилось, что я захожу в свою старую комнату, вхожу, словно актриса на сцену. Я знаю, что родители в отъезде и я дома одна. Меня это удивляет, ведь на следующий день должна быть моя свадьба с Арчибальдом. Но подвенечного платья все еще нет. Или я ошиблась? Я открываю шкаф, чтобы посмотреть, там ли оно, и вместо свадебного платья вижу тысячи разных нарядов: роскошных платьев, оперных костюмов, восточных одежд. «Какой из них выбрать?» – думаю я. И тут дверцы внезапно захлопываются, или шкаф исчезает, я уже не помню. В комнате становится очень светло, хотя я откуда-то знаю, что сейчас темная ночь… И тут у окна появляешься ты, роскошно одетый, в шелке и золоте, на боку у тебя серебряный кинжал. Ты помогаешь мне выбраться, и тут оказывается, что я тоже одета как настоящая принцесса. Сумерки, мы оба стоим в поле, и тонкий серый туман поднимается почти до колен. Мы на берегу озера, впереди – горы; я вижу еще деревенские домики, словно игрушечные. Сейчас я думаю, что это одна из австрийских деревушек, где мы были с Арчибальдом в прошлом году, но во сне я этого не понимаю, а мы с тобой просто идем по этому туману, и я думаю: «Это наше свадебное путешествие», и вот мы высоко в горах на поляне, которая с трех сторон окружена лесом, а позади – уходящая ввысь отвесная скала, и над нами небо какого-то невероятного синего цвета, сплошь усыпанное звездами. «Это наше брачное ложе», – думаю я и падаю навзничь в это небо, но не взлетаю, а мягко опускаюсь куда-то, но когда хочу подняться, понимаю, что как будто привязана незримыми нитями к земле… даже не к земле, а к уходящим за горизонт рельсам. И я уже не я, а маленькая девочка, какой была лет в пять-шесть… я совсем голая… Хотя я не могу пошевелиться, мне вовсе не страшно… но тут издалека начинает нарастать шум поезда. Я поднимаю голову и вижу паровоз: огромный, окутанный дымом и горячим паром, весь устремленный вперед, громадный, приближающийся ко мне… ты не поверишь, Эндрю, но когда этот страшный поезд уже почти меня раздавил, я проснулась с таким счастливым криком, что даже разбудила Арчибальда.

– Это очень понятный сон, – говорит Бродхед. – Я же на этот раз представляю в Лондоне железнодорожную компанию, вот отсюда и паровоз.

В ответ Элизабет смеется, смеется, запрокинув голову. Го лая, она сидит в кровати напротив Бродхеда, груди колышутся в такт смеху, живот тоже колышется… круглый такой животик, мягкий, теплый, нежный… как она каждый день втискивает его в корсет? Неудивительно, что следы от пластинок впечатались в кожу, словно навек, словно на все оставшиеся годы жизни.

Многие мужчины любят молоденьких, специально выискивают по борделям совсем юных девочек, а Бродхеду кажется – ничего нет лучше женщин, чье тело уже прошло через роды, уже начало увядать, как и твое. Юные девочки – лживое обещание второй молодости, а сверстницы – поставленное напротив честное зеркало, словно говорящее: мы не только вместе отправимся в эту постель, но и в землю ляжем почти одновременно.

– А серебряный кинжал означает Акт Шермана или Акт Блэнда-Эллисона?

– Акт Блэнда-Эллисона отменен три года назад, – автоматически отвечает Бродхед, не успевая даже удивиться: он слишком поглощен колыханием плоти Элизабет. Ни одна женщина, с которой он спал, не умела быть так бесстыдно обнаженной – даже проститутки в парижских борделях.

– Ни один сон, – говорит Элизабет, – не может быть просто сном. Сны – это язык, которым мы говорим сами с собой о том, для чего у нас нет слов.

– А для чего у нас нет слов?

Элизабет пожимает полными округлыми плечами:

– Много для чего. Например, для того, что мы делали только что. У тебя есть слово? Что мы делали?

– Ну, мы спали вместе.

– Эндрю, мы не спали! Мы бодрствовали, и очень энергично бодрствовали.

– Извини, Лиз, я знаю слово, но не могу его сказать даме.

– Я тоже знаю это слово, Эндрю, – немного раздраженно отвечает Элизабет, – оно рифмуется с удачей и с уткой. Но тебе не кажется странным, что ты можешь делать со мной то, что ты делал, но не можешь это назвать? Потому что джентльмен не должен говорить такие слова при даме.

– Никогда об этом не думал, – отвечает Бродхед и заворачивается в одеяло: как ни топи, лондонской зимой в домах всегда холодно, – но не понимаю, зачем нам об этом говорить? Мне платят за то, что я все время говорю: пусть хотя бы у нас с тобой будет такое, о чем нельзя сказать словами.

– Я думаю, если бы люди могли об этом разговаривать, жизнь была бы другой, – говорит Элизабет. – Например, я знаю, что у Арчибальда есть другие женщины… может, любовница, или он просто ходит в… некоторые дома… опять же, я знаю слово, но тоже не могу его произнести, ты заметил? Ну, неважно, я не о том… я бы сказала Арчибальду, что его измены не обижают меня, что это, как вы говорите, о’кей. Но мы не можем поговорить обо всем этом, потому что у нас нет языка для такого разговора.

– А что бы изменилось, если б ты поговорила с Арчибальдом? – спрашивает Бродхед, и одеяло перестает его согревать: ух, сколь многое бы изменилось, если бы Арчибальд Темпл узнал, что деловой партнер спит с его женой! Ну, в смысле не спит, а энергично бодрствует.

– Что бы изменилось? Мы бы перестали врать. Я бы не говорила, что еду проведать тетю Бетси, Арчибальд не рассказывал бы, что собирается на охоту с графом Мейуардом.

– Вы бы простили друг другу измену? – спрашивает Бродхед, который уверен, что Норма подобного разговора не простила бы, даже если бы нашлись слова, которых еще не существует.

– Ты знаешь, Эндрю, я почему-то уверена, что это вовсе не измена. Я все равно сохраняю верность Арчибальду, а ты – твоей Норме. Просто у нас нет языка, чтобы говорить об этом, – и мы врем, скрываемся и держим в тайне то, что нас с тобой связывает. Тебе не нужно было бы сообщать мне о своем приезде через страницу объявлений «Таймс», и нам не пришлось бы изображать на людях, будто мы едва знакомы. Скажи, разве это не было бы прекрасно?

Бродхед вздыхает. Да, несколько раз он встречал Лиз на званых ужинах, на балах и в театре. Он подходил, вежливо здоровался и весь остаток вечера старался на нее не смотреть – доносились только переливы знакомого смеха, кидая то в жар, то в холод, напоминая, как колышутся обнаженные груди и не стесненный корсетом живот, когда Лиз так же смеется наедине с ним.

– Это было бы прекрасно, – кивает Бродхед, – но при чем тут сны?

– Изучая сны, мы можем создать язык, – говорит Элизабет, – чтобы говорить друг с другом о соитии… то есть о действии, описываемом глаголом на букву *f*.

Бродхеду кажется, что он краснеет. Глагол на букву *f*! Черт!

– И что говорит тебе твой сон о… о соитии? – Бродхед понимает: он только что впервые в жизни произнес это слово, беседуя с женщиной.

– Что я соскучилась по тебе и хочу тебя, – улыбается Элизабет, – что где-то в волшебной стране, в глубине моего сердца, мы с тобой – жених и невеста или, если угодно, муж и жена. Что меня восхищает твоя сила и мощь, я не боюсь их и доверяю тебе.

Бродхед молчит. Обнаженная Элизабет спокойно улыбается, и Бродхед замечает, что в уголках ее глаз с прошлой встречи появилось еще несколько морщинок. Бережно и нежно он касается ее колена.

– Я знаю, – говорит он, – как сильно ты мне доверяешь. И знал это всегда, без снов и без слов. Там, в Америке, Лиз… я все время помню о тебе.

Улыбка сбегает с тонких губ Элизабет, ладонью она накрывает руку Бродхеда и отворачивается.

– Мне нравится, когда ты зовешь меня «Лиз», – наконец говорит она.

Это было ее секретное имя, их собственное секретное имя. Семь лет назад, за ужином в имении Темплов, Бродхед сказал:

«Мы, американцы, ценим время. У нас вы были бы не Арчибальд и Элизабет, а Арчи и Лиз» – и через два дня, в гостиничном номере, в ответ на его смущенное «миссис Темпл» Элизабет приложила палец к губам Бродхеда и прошептала:

– Зови меня Лиз, как звал бы у себя в Америке.

– Хорошо, – потерянно сказал Бродхед: он был слишком напуган случившимся и все думал: что, если портье узнал миссис Темпл? Что, если об этом визите станет известно? Если узнает Арчибальд? До прибытия Грискома оставалось два дня, и, черт возьми, двух дней вполне хватило бы рассерженному мужу, чтобы сорвать подписание сделки.

Но – обошлось, портье не узнал или просто смолчал, соблазненный щедрыми чаевыми, «МНК» проглотил «Инман Лайн», точно акула – мелкую рыбешку, а на обратном пути за бокалом *Lheraud* в мерно покачивающемся баре трансатлантического парохода (ныне – собственности «Международной навигационной компании») Бродхед небрежно заметил Грискому, что неплохо было бы купить небольшой апартамент в Лондоне, там теперь часто придется бывать, а квартира – и надежней, и дешевле, чем останавливаться в отеле. Так он решил проблему с портье, посыльными и швейцарами – а Лиз придумала заранее публиковать в «Таймс» шифрованное объявление, чтобы дать знать, когда он приезжает и в какое время будет ее ждать.

К сожалению, отвечать тем же путем она не могла – и потому перед каждой встречей Бродхед мерил комнату широкими шагами, сжимал и разжимал кулаки, тревожно смотрел в окно, приглядываясь к каждой женской фигуре, спешащей по тротуару, к каждому кэбу, проезжающему тихим проулком.

После ухода Элизабет он обычно стоял, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел ей вслед. Она уходила не оглядываясь, сосредоточенным скорым шагом, словно спешащая по делам горничная, – и Бродхед на всю жизнь запомнил осенний вечер, когда впервые понял, что однажды все это произойдет *в последний раз*, Лиз вот так и уйдет, навсегда. Что-то случится… отпадет надобность в поездках в Лондон, Арчибальд Темпл переедет с семьей в Европу, или просто Бродхед и Лиз состарятся, желание угаснет, им незачем будет встречаться.

Бродхед стоял у окна, тщедушное одинокое дерево гнулось под порывами осеннего ветра, срывавшего последние, потерявшие цвет листья, он сжимал и разжимал кулаки, а одинокая, несгибаемая, решительная фигурка его любовницы приближалась к повороту, еще минута – и она исчезнет из виду. Он хотел распахнуть створки, закричать что-то вослед – но так и остался неподвижен. Мы ведем себя так, словно никогда не умрем и будем жить

вечно, подумал он. Словно все, что случилось сегодня, обязательно повторится; словно у нас будет еще один шанс сказать все, чего не сказали; сделать все, чего не успели.

Бродхед стоял у окна, лондонский сквозняк пробирал до костей, и он вспомнил слова о *ледяном дыхании смерти*, когда-то услышанные в воскресной школе. Это ледяное дыхание выстужало комнату, холодило сердце, выдувало из постели последние оставшиеся от Элизабет атомы тепла. *Оглянись, прошу тебя, Лиз, оглянись*, шепотом сказал Бродхед, но она по-прежнему шла не останавливаясь, не поворачивая головы, а потом скрылась за поворотом, исчезла – будто умерла на время, а может – навсегда.

Один в пустой комнате, он глядел на пустую улицу, за спиной, бездонная, как могила, ждала пустая неубранная постель. Никогда еще Бродхед не был так одинок, никогда еще не осознавал так ясно свою смертность, никогда еще не был так счастлив.

Замерзшая Элизабет забирается к нему под одеяло – давай полежим просто так, хорошо? – Бродхед обнимает ее за плечи, хочет согреть теплом своего тела и сам согревается, прижавшись к ней.

– Если не считать финансов и того, чем мы с тобой занимались, – говорит Элизабет, – две вещи интересуют меня сейчас: сны и мифы.

– Греческие мифы? – спрашивает Бродхед. Он не слишком много учился в юности и не уверен, что способен достойно поддержать беседу об античности.

– Любые, – отвечает Элизабет, – но можно греческие, потому что другие мы знаем хуже. Мифы – они как сны, в том смысле, что тоже – шифр, и в них скрыты варианты нашей судьбы. Надо только понять, какой миф – твой. Орфей, спускающийся под землю, – это не для тебя, я уже поняла. Но вот другие… Геракл совершает подвиги и гибнет от любящей его женщины, Эдип убивает своего отца, а Медея – своих детей. Персей отсекает голову Медузе, Тезей бродит по лабиринту, а Язон плывет за тридевять земель в поисках золотого руна. Кем бы ты хотел быть?

– Язоном, – отвечает Бродхед, – мне нравится про золотое руно.

Элизабет смеется:

– Ну, это и есть американский миф – плыть на край света в поисках своего Эльдорадо.

– И вернуться с победой?

– Вернуться с золотым руном, но все равно потерпеть поражение.

– Не подходит, – качает головой Бродхед, – в моей жизни не было поражений.

Элизабет целует его в губы.

– Это значит, ты еще молод, – говорит она.

Некоторое время они лежат молча, на границе между сном и бодрствованием, а потом Элизабет спрашивает:

– Ты уже решил, где будет учиться Эндрю-младший?

– В Гарварде, – отвечает Бродхед.

– Ну, конечно, как я не догадалась! – улыбается она. – Гарвард, кто бы сомневался!

– А твоя новорожденная внучка? Вы уже решили, кого ей предстоит окрутить?

– Еще нет, Арчибальд-младший не хочет об этом говорить, – отвечает Лиз. – Он, конечно, склоняется к финансистам, но я бы предпочла титул… деньги и без того есть.

– Титул – это так по-британски, – говорит Бродхед.

– Нет, ну ты представь, – отвечает Элизабет, – леди Виктория Девис. Или леди Виктория Грей. Мне не обязательно, чтобы совсем уж сливки общества, тут главное дать хороший старт, а остальное внуки наверстают.

– Мои дети станут американской аристократией сами по себе, без всяких титулов, – говорит Бродхед. Элизабет тесней прижимается к нему и закрывает глаза.

Раздается стук в дверь. Бродхед вскакивает, накидывает шелковый халат и выбегает из спальни. Не открывая глаз, Элизабет по-кошачьи сворачивается в опустевшей постели.

– Кто это, Эндрю? – сонно спрашивает она.

– Телеграмма, – говорит Бродхед, – наверно, по поводу завтрашней церемонии.

– Что за церемония? – Элизабет привстает, заинтересованная. Сна – ни в одном глазу.

– Президент поднимает флаг на нашем «Нью-Йорке».

– Чей президент? «МНК» или всех Соединенных Штатов?

– Всех Штатов, президент Гаррисон. Мы работали над этим несколько лет. Помнишь, в восемьдесят шестом мы их купили и пообещали, что построим два самых мощных почтовых парохода? А когда «Париж» и «Нью-Йорк» сошли с верфи, ваше правительство отобрало у «Инман» контракт на перевозку почты.

– Ты говорил, да, – кивает Элизабет.

– И тогда мы решили уйти под американскую юрисдикцию, но тут была загвоздка: по закону под американским флагом может плавать только судно, построенное в Штатах. Пришлось договариваться в Сенате. Гриском пообещал построить на наших верфях еще два таких же парохода, как «Париж» и «Нью-Йорк», – ну, и они сдались. Сегодня президент Гаррисон поднимает флаг на «Нью-Йорке», а когда «Париж» прибудет в Штаты – на нем тоже поднимем.

– Поздравляю, – серьезно говорит Элизабет, – это впечатляет. Не знала этой истории.

– Боялся сглазить, – поясняет Бродхед и, наконец разорвав конверт, достает телеграмму. Улыбка сбегает с его лица.

– Что случилось?

– Мой агент в Филадельфии сообщает, что завтра «Филадельфия и Ридинг Рейлроудз» подают на банкротство. Невероятно! В прошлом месяце я был на открытии их нового вокзала, роскошное здание, выписали из Нью-Йорка каких-то модных архитекторов, жутко дорогих… торжественная церемония, все такое… банкротство!.. не может быть!

– Понятно же, что рано или поздно это должно было случиться, – говорит Элизабет. – Ваши игры с обязательным выкупом серебра и гринбэками не могли кончиться добром.

– Что ты имеешь в виду? – оторопело переспрашивает Бродхед.

– Ну, Серебряный акт Шермана, – отвечает Элизабет, – когда ваше правительство обязалось каждый месяц выкупать четыре с половиной миллиона унций серебра. А до этого еще признали бумажные деньги времен Гражданской войны. Фермеры, конечно, рады были гасить кредиты дешевыми деньгами, но потом-то все должно было схлопнуться, так? Все эти железные дороги от берега до берега, пароходы один больше другого… я понимаю, производит впечатление, акции растут… чем масштабней планы, тем выше рост, это понятно. Но всей этой махиной нужно управлять, снова и снова тратить деньги на ремонт пароходов, обслуживание дорог и все прочее – а денег нет, одни бумажки, и банки рано или поздно перестанут давать кредиты, ведь потом с ними расплачиваются дешевеющим серебром и никчемными гринбэками – тут-то все и рухнет, как в Австрии в январе. Я, правда, думала, у нас есть еще полгода… ну, выходит, тоже просчиталась.

Бродхед садится на край постели.

– Откуда ты все это знаешь? – еле слышно говорит он.

Элизабет обнимает его за плечи:

– Я из семьи финансистов, ты забыл? Мой дед и два его брата полвека управляли Европой. К тому же я умею слушать, что говорят люди. В том числе ты, но не только. Слушать – и обдумывать.

– Боже мой, Лиз, тебя надо было нанять нашим представителем в Лондоне, – горько усмехается Бродхед, – хотя теперь-то, конечно, ни к чему. Нам откажут в кредите, едва узнают про банкротство. А если, не дай Бог, не откажут, мы не сможем его отдать – американская экономика вот-вот рухнет, как карточный домик.

– Ну, золото останется, – говорит Элизабет.

– У меня нет золота, Лиз, – отвечает Бродхед. – Мои деньги – в акциях железных дорог и пароходов. Ведь мы же так гордились нашими железными дорогами! Нашими железными дорогами – и нашими магнатами! Мол, не только Ротшильды и Ллойды могут, Рокфеллер с Морганом не хуже. Мы думали, вот он, золотой век Америки, мы станем вровень с цивилизованными странами Старого Света.

– Вот и хорошо, милый, – говорит Элизабет, прижимаясь к нему, – они все по-прежнему так думают. Успеешь сбросить акции, когда откроется биржа в Нью-Йорке. А что до золотого века – так ваш Марк Твен правильно сказал: это позолоченный век, а не золотой. И вот теперь позолота слетит.

Бродхед на мгновение представляет золотую статую Гермеса на вершине колонны около Старой Канцелярии в Штутгарте, где он был пару лет назад во время своей европейской поездки. Бродхед видит, как позолота слезает с Гермеса, с его воздетой руки, с его кадуцея, с округлого петаса, с крылатых сандалий – слезает слой за слоем, словно нижние юбки и сорочки, которые Бродхед два часа назад снимал с Элизабет, еще не зная, что где-то по ту сторону Атлантики уже раскручивается маховик катастрофы.

– Это как в горах, – продолжает Элизабет, – любой камешек может вызвать обвал. Через полгода те, кто уцелеет, будут считать себя везунчиками. Я думаю, не только у вас – в Европе тоже всех накроет. И это филадельфийское банкротство – только начало, за ним придет большая волна, как за землетрясением. Девяносто третий – вообще невезучий год… вспомни, что было во Франции сто лет назад.

Бродхед кивает, смутно представляя, что там было во Франции. Наполеон? Какая-нибудь революция? Но в одном Лиз права: акции он успеет сбросить. Лишь бы газеты не узнали до официального объявления о банкротстве!

Бродхед встает и, скинув халат, направляется к шкафу – за бельем и чистой рубашкой.

– Мне тоже нужно идти, – говорит Элизабет, – надо предупредить Арчибальда.

– А как объяснишь, откуда узнала про банкротство?

– Что-нибудь придумаю. – Элизабет пожимает плечами. – Арчибальд мне доверяет. Расскажу, что мне снился сон.

– Ах да! – вспоминает Бродхед. – Ни один сон не может быть просто сном.

Все то же самое, но теперь – в обратном порядке: чулки, лиф, панталоны… сорочка, корсет… нижние юбки, корсаж, шерстяная рубашка… блузка, юбка, пояс… воротничок, галстук, ботинки… пуговки, крючочки, ленты… завязывать развязанное, застегивать расстегнутое… все то же самое, что два часа назад, так же торопливо и жадно, хотя на сей раз их подгоняет не похоть, а алчность: до открытия Нью-Йоркской биржи полчаса, надо спешить.

Грядущий кризис страшнее разоблачения тайной связи: впервые они выходят из дома вдвоем, выходят не как любовники – как деловые партнеры.

(перебивает)

– Дед моего приятеля, когда началась война, сразу понял: деньги скоро обесценятся. Надо срочно их потратить. Но на что? Он подумал и решил: в ближайшие годы ни у кого не будет новой одежды, все будут перешивать старую. Пошел на рынок и купил полный чемодан иголок. И на эти иголки кормил всю семью еще лет семь…

– А я читал, во время Великой депрессии разбогатели те, кто вложился в акции швейных машинок. По той же причине: одежду никто не покупал, а чтобы шить самим – нужны машинки.

– Мне кажется, это история о разнице масштабов.

– …Или о разнице начальных условий.

Длина 560 футов, водоизмещение – десять с половиной тысяч тонн, скорость – 20 узлов, паровая машина тройного расширения, двойной гребной винт, на борту – около двух тысяч человек, три дымящие трубы, три бездействующие мачты. Почтовый пароход

«Париж», один из двух, построенных в 1888 году на деньги «Международной навигационной компании» и «Филадельфийских железных дорог», опять пересекает Атлантику, на этот раз – в направлении своей новой родины. Мы – страна эмигрантов, пошутил Эндрю Бродхед месяц назад, все к нам стремятся – и люди, и пароходы. Хорошая получилась шутка, жаль только, сейчас Бродхеду уже не смешно.

Конечно, грех жаловаться: акции сбросил, деньги уже в банке Дж. П. Моргана, ждут, пока Бродхед приплывет за ними в Америку. «Париж» – самый быстрый трансатлантический пароход, обладатель мирового рекорда (5 дней 14 часов 24 минуты), но и на самом быстром пароходе время тянется медленно, когда впереди по курсу – неизвестность. Ох, сдается мне, Лиз права, Серебряный акт Шермана вот-вот обрушит банковскую систему – и тогда плакали мои денежки, пусть и в морган овском банке! Дай Бог, все не рухнет за эти пять дней – ну, а вдруг? Что я скажу Норме и Эндрю-младшему? Простите, ваш папа, такой умный и предприимчивый, не смог сохранить то, что заработал?

Бродхед заходит в обеденную залу, огромный стеклянный купол должен пропускать солнечный свет – но в этом феврале над Атлантикой не видать никакого солнца, ни сквозь стекло, ни на палубе, где только дождь и ветер. Не видать днем, за обедом, что уж говорить о позднем ужине. Но раз нет солнца – не беда, зажжем электрические лампы, зальем залу искусственным светом! Играет оркестр, официанты разливают по бокалам вино, пассажиры первого класса – смокинги, вечерние платья, обнаженные плечи и груди – орудуют серебряными приборами, и, если бы не легкая тошнота, легко представить, будто мы в каком-нибудь новом ресторане Нью-Йорка или Лондона.

Впрочем, может, тошнит и не от морской болезни?

Бродхед выходит в длинный холл, тоже накрытый стеклянным куполом, направляется в курительную. Ореховые панели, хрустальные люстры, в темно-красных кожаных креслах несколько десятков джентльменов курят сигары, обсуждают слухи о грядущей премьере «Утопия, Лимитед», долгожданной новой оперетты Гилберта и Салливана. Богатые люди, бизнесмены, финансисты, аристократы. Это их деньги сгорят в огне наступающего кризиса – но они об этом не знают. К чему тревожиться? Трансатлантический рейс – все равно что каникулы: раз нельзя работать, будемте развлекаться, словно ничего не случилось!

Я – единственный на этом судне, кто знает, что мы плывем навстречу катастрофе, думает Бродхед. Это как если бы прямо по курсу – плавучий ледяной остров, а мы идем на полной скорости, и столкновение неизбежно. Все будет, как сейчас: играет оркестр, официанты разносят вино – красное, как кровь, – дамы обмахиваются веерами и кокетливо смеются, а джентльмены в курительной наблюдают, как струйки дыма собираются под потолком в клубы, напоминающие игрушечные грозовые тучи. Никто не верит в неизбежную гибель, не спешит к спасательным шлюпкам…

Бродхед возвращается в свою каюту, одну из четырнадцати лучших на пароходе. Гостиная, туалет, ванная. Горячая и холодная вода из крана, как в дорогом отеле, никаких грохочущих при качке кувшинов.

Он снимает смокинг, облачается в пижаму, выключает электрическую лампу. Лежа в темноте, продолжает прокручивать в голове: скажем, через четыре дня он приплывает в Нью-Йорк и узнает, что банк Моргана тоже объявлен банкротом… или, напротив, все нормально, есть время снять деньги, превратить их в золото, единственное, что не обесценится в грядущем кризисе… это, конечно, если золото есть на рынке, если Казначейство не приостановило продажи… Господи, еще четыре дня, как я их проживу?

Он ворочается с боку на бок, сжимает и разжимает сильные пальцы, мужчина среднего роста и среднего возраста, плывет к своим деньгам, к своей жене и сыну… он совсем не вспоминает про Лиз Темпл, вот только от ее предсказаний ком стоит в горле, тошнит хуже,

чем от морской болезни, и – лопастями винта – в мозгу одни и те же вопросы: что нас всех ждет? что там, прямо по курсу?

Лучше бы тебе уснуть, Эндрю Бродхед. Ты хорошо подготовился к кризису, а остановить его – не в твоих силах. Ты счастливчик, Эндрю Бродхед. Хотя ты не знаешь подробностей, для тебя уже все случилось – банкротства, разорения, нищета и народные волнения. Твоим соседям по «Парижу» предстоит месяц за месяцем обманывать себя, говорить *всё обойдется*, приходить к осознанию катастрофы, о которой уже знаешь ты и твоя Лиз.

У тебя есть фора, Эндрю Бродхед, и ты воспользуешься ею, уже воспользовался.

Девяносто третий год действительно войдет в историю как год Серебряной Паники и всемирного экономического кризиса, следом за ним придет девяносто четвертый, год первого в истории США голодного похода на Вашинтон, расстрела чикагской забастовки работников завода Пульмана, производителя тех самых пульмановских вагонов. Память о проклятом Девяносто Третьем еще долго будет пугать выживших рабочих, фермеров и финансистов – пока Великая депрессия 1929 года не затмит воспоминания о безработице, инфляции и банкротствах новыми, еще масштабнее.

Почтовый пароход «Париж», детище твоей блистательной сделки 1886 года, еще не раз пересечет Атлантику, поучаствует в войне с Испанией под именем «Йель» и в Первой мировой – под именем «Гаррисбург». В конце концов, переименованный в «Филадельфию», он закончит свои дни в Неаполе, разобранный на металлолом в 1923 году.

Если ты доживешь до этого года, Эндрю Бродхед, тебе будет семьдесят пять. Ты располнеешь и облысеешь, висячие усы утратят былую густоту, но обретут взамен благородный цвет заслуженной седины, цвет серебра. Возможно, ты, Язон, придешь к стоящему на берегу «Парижу» – если угодно, «Филадельфии» – и, спасаясь от жаркого итальянского солнца, приляжешь в его тени. Усталый, ты закроешь глаза, и тебе явится середина твоей жизни, когда, подобно крылатоногому Гермесу, ты сновал из Нью-Йорка в Лондон, вел переговоры, договаривался о кредитах, заключал сделки, покупал перчатки и кружево своей Норме и слой за слоем снимал неудобные викторианские платья со своих любовниц. Ты будешь спать, и тебе приснится невозвратное прошлое: викторианский Лондон, позолоченный век, финдесьекль, бель-эпок, Великая война и Великая депрессия. А потом десятитонный пароход обрушится на тебя, как «Арго» – на Язона, и полуденная дрема сменится вечным сном, в котором ты наконец встретишь всех, кого, казалось, потерял навсегда.

Но нет, ты – совсем не Язон, Эндрю Бродхед, поэтому не загадывай на будущее, спи сейчас, спи в чреве рукотворного кита, плывущего по ночной Атлантике на двадцати узлах. Пусть твой сон будет прозрачен, и любое толкование разобьется о его чистоту; пусть он будет ажурным обещанием счастья; пусть явится тебе образом давнего июльского полдня, зеленью строгого английского парка, обволакивающим солнечным светом… одинокой женской фигурой, застывшей как мраморная статуя, как хрупкое пророчество будущих встреч.

* * *

Открыв дверь, он оглядывается в последний раз. Вот так же он стоял здесь, в прихожей, придя сюда впервые семь лет назад. Квартира была незнакомой, непонятной. Чужой. Он прошелся, прикидывая, как расставит вещи, спрашивая себя, сможет ли быть здесь счастлив. Столетний паркет, ровесник дома, скрипел под ногами – у него будет много лет на то, чтобы запомнить эти звуки, научиться разбираться в них, различать в темноте. Но тогда он еще не знал об этом – и только подойдя к окну, внезапно задохнулся: красно-золотые осенние листья колыхались у самого стекла, ослепительной багрово-желтой завесой укрывая дом от неприветливого города, враждебного, чужого мира. Он долго стоял у окна, а когда обер-

нулся, квартира уже стала своей, родной, уютной, созданной специально для него, под него – ждала, когда он заполнит ее своей жизнью.

Она не была податливой, нет, у нее был характер, строгий и немного ироничный. С первого же дня он знал: несмотря на обещание, данное у пылающего осеннего окна, ее любовь будет нелегко заслужить – и все эти семь лет он старался быть достоин этой любви и этого обещания.

Никогда я не буду счастлив так, как был счастлив здесь, думает он.

Осторожно кладет на комод связку ключей, выходит и захлопывает дверь – словно отрезая прошлое, словно ставя точку громким хлопком, прощаясь навсегда.

8
1895 год
В ожидании большого взрыва

К вечеру сгустилась мгла ненастного дня. Тусклый свет газовых фонарей потонул в сыром влажном тумане. Студенты, выходившие вместе с профессором Прокопом Вальдом из Политехнички, поднимали воротники своих тонких потертых пальто. Было слышно, как стучат от холода зубы.

В такую погоду все города неотличимы друг от друга, подумал Прокоп. Прага, Вена, Париж…

В этих городах он учился когда-то. Тоже выходил промозглым осенним вечером, поднимая воротник истрепанного пальто, бормоча под нос химические формулы, на память повторяя уравнения реакций.

Уже тогда он знал: буквы латиницы превращаются в символы элементов так же, как атомы, комбинируясь, создают молекулы. Во сне Фридриха Августа Кекуле атомы, взявшись за руки, водили хоровод – временами Прокоп Вальд различал тончайшие балетные па, видел сходящиеся и расходящиеся пары, слышал тихий шепоток танцующих, признания в любви, ворчливые жалобы, горькие слова расставания и разрыва.

Разрывы – вот что всю жизнь волновало Прокопа. Расставание атомов и разрыв связей, высвобождение энергий, освобождение, свобода, взрыв.

Электрический разряд проскочил между клеммами неба и земли, и спустя секунду зародившаяся в тучах над Прагой звуковая волна вибрацией отозвалась в барабанных перепонках. Прокоп поднял меховой воротник, раскрыл зонт, черный, как доска в аудитории.

В восьмистах метрах над головой профессора водяной пар сконденсировался в мельчайшие капли. Сила гравитации обрушила их на вечерний город.

Потоки воды стекали с крыш и бежали по лицам домов, как ручьи слез. Арки ворот наполнились людьми, прохожие хотели переждать непогоду.

Недостижимый для дождя, Прокоп упрямо шел по городу. Зонт накрывал его, круглый, словно купол романского собора. Острие торчало на вершине крестом, лишенным перекладины.

Гром в пустых небесах, где не было Бога, звучал вызовом. Будет ли рукотворный грохот – громче, вспышка – ярче, взрыв – разрушительней?

Эти вопросы не давали Прокопу покоя, и каждой год он заново отвечал: «Да, будет!»

Отвесные восьмидесятиметровые стены Коринфского канала – памятник этому «да», монумент величию человеческого духа. Храм, воздвигнутый во славу рекомбинации химических символов, во славу инженеров и ученых.

Да, именно инженеров и ученых должны были чествовать два года назад, в августе, когда король Георг I и королева Ольга торжественно проплыли по Коринфскому каналу. Толпа во все глаза смотрела на императора Франца-Иосифа, а подлинные строители канала, Тюрр и Герстер, остались в тени – как всегда.

Народ любит смотреть на императоров: в этом смысле ничего не изменилось со времен Нерона.

Но то, что было не под силу шести тысячам римских рабов, сделали динамит и гремучий студень, гидравлические подъемники, лебедки и полиспасты, инженеры и ученые.

В тот августовский день 1893 года Прокоп прозрел будущее: сеть каналов покроет Европу, соединит океаны, объединит народы. Франция, Германия, Австрия – и дальше, на север и на восток. Дания, Швеция, Россия. Каналы соединяют Дунай и Днепр, Дон

и Волгу, Балтику и Белое море – каналы, построенные не рабами, но свободными людьми, вооруженными научными знаниями.

Ветер рвал зонт из рук Прокопа, но все также упорно, не пригибаясь, профессор шагал по улицам. Редкие электрические фонари, год назад появившиеся в Праге, сияли сквозь дождь как маяки, как светочи прогресса.

Продрогшие студенты сбивались в небольшие группки, спешили в полутемные подвалы пивниц, в убогий уют трактиров и постоялых дворов. В поисках тепла юноши жались к огню, поднимали пенные стаканы – будем веселиться, пока молоды, жизнь коротка, скоро она кончится! Шум наполнял залу, кровь быстрее бежала в жилах – и только у нескольких студентов где-то на краешке сознания чуть мерцала, покачиваясь, фигура чудаковатого профессора. Перепачканный мелом, он стоял у доски – смешной, нелепый, запинающийся. Формулы наползали друг на друга, мало кто без ошибок мог переписать в тетрадь хитросплетения мелких цифр и заглавных латинских букв.

Подняв голову, Прокоп увидел свое окно; сквозь дождь стекла казались мягкими, непрозрачными и бугристыми. Он постучал, и старый Войцех, привратник, открыл ему.

– Какой ливень, пан профессор!

Прокоп кивнул и протянул зонт, сложенный, как крылья подстреленной птицы. Вода стекала с зонта напоминанием о дожде, оставшемся за дверями.

– К пану профессору посетительница, – сказал Войцех, – я разрешил подняться. Ваш Лейба разговаривает с ней в гостиной.

Прокоп недовольно поморщился.

– Я надеюсь, пан профессор меня простит, – сказал Войцех, – я не мог оставить пани под дождем.

Прокоп снова кивнул. Он уже не помнил, когда в последний раз женщины приходили к нему домой – если, конечно, не считать уборщицы и кухарки.

Скинув на руки Войцеху сырое тяжкое пальто, Прокоп поднялся на второй этаж. Съемная квартира была слишком велика для старого холостяка, проводившего почти все время в библиотеке и лаборатории. Положение, тем не менее, обязывало.

Деньги и слава, причитавшиеся профессору Вальду, не были ему нужны – это подношения не ему, а тому делу, которому он посвятил жизнь. Взрывчатые вещества, горючие смеси, очистка и перегонка нефти – наука перестала быть пустой забавой, стала тем, чем призвана быть в грядущем веке: сердцем промышленности, движителем экономики, источником могущества и силы.

Поезда неслись по стальным рельсам. Трансатлантические пароходы пересекали океан. И вместе с ними весь мир мчался в будущее, созданное гением инженеров и ученых.

Прокоп открыл дубовую дверь в гостиную. Гостья обернулась, заслышав шаги, – но Прокоп узнал ее раньше, чем увидел лицо, почти не постаревшее за четырнадцать лет.

– *Bonjour, Helen.*

– *Guten Abend, Herr Professor,* – ответила женщина.

Первое, что она подумала: постарел. Нет, не просто постарел – отяжелел. Стал солидным, массивным, крупным. Ни следа гибкости, азарта, напора. В самом деле – герр профессор, как еще сказать?

– Ты из Парижа? – спросил Прокоп.

Элен покачала головой: последний год в Париже нечего делать. Все закончилось. Приходится начинать заново, на новом месте. Россия, Италия, Америка…

– Я был там в восемьдесят девятом, на Выставке, – сказал Прокоп и зажевал губу, умолкнув на полуслове. По старой привычке, почти машинально, Элен восстановила недосказанное и договорила за Прокопа:

– Ты искал меня.

Он кивнул.

– Я сменила фамилию, – сказала она. – И я больше не занимаюсь медициной.

Слова легко срываются с губ. «Я-больше-не-занимаюсь» – и почти без паузы – «медициной». Вот как легко, оказывается, это произнести, как легко признаться. Не кому-нибудь – мужчине, который помнил, чем была для нее возможность стать врачом, который знал – должен был знать! – от чего она ради этого отказалась.

От чего отказалась – выговорить куда труднее, да и не понятно, что говорить. Когда-то Элен думала: «от любви», иногда – «от счастья». Но в последние годы она снова узнала и счастье, и любовь – и они были такими страшными, что иногда ей хотелось забыть о них.

Но сначала, много лет назад, она отказалась от медицины. И значит, призналась себе, что все было зря: голодные годы в парижском Факюльте де Медсан, зубрежка, экзамены, мечты о будущем.

Такой отказ – что это? Великая жертва или великое предательство?

Интересно, Прокоп спросит, почему? Нет, не спросит, промолчит по обыкновению. Будет жевать губу, хмурить кустистые брови. Неужели понимает без слов, как когда-то?

Сердце стукнуло при одной мысли – Элен даже не ожидала. Была уверена: все прошло. Да ты только глянь на него – постарел, отяжелел, обрюзг.

Но нет – в груди екнуло, пульс подскочил: словно и не было четырнадцати лет.

Мальчишка принес бутылку моравского. Конечно, не бордо, но ведь Прага – не Париж, Прокоп потерял вкус к вину. Где вы, ночные попойки в кабаках Латинского квартала – до самого утра, до последнего весельчака, падавшего на пол, лицом в отсыревшие опилки? Теперь профессор Вальд позволяет себе лишь кружку чешского пива к ужину.

Прокоп узнал Элен сразу – но весь вечер вглядывался: что осталось от девушки, которую он любил когда-то? Глубокая морщина пролегла поперек лба, щеки впали, черты лица заострились. Сухие, бесцветные губы; кисти обтянуты обветренной кожей.

Тот же татарский изгиб скул, те же непослушные волосы, выбивающиеся из небрежной прически. Те же темные, глубокие глаза, тот же антрацитовый блеск.

Пятнадцать лет назад, узнав об экспериментах Хэннея, Прокоп сказал: «Блеск в глубине твоих глаз – как сияющий алмаз, скрытый в черном графите». Элен рассмеялась: «Настоящий комплимент ученого. Чтобы его понять, нужно учиться несколько лет».

Ему было двадцать четыре, ей – двадцать. Он приехал из Вены, чтобы продолжить обучение в Эколь Политехник, она была среди первых девушек, допущенных к обучению в Факюльте де Медсан. Они познакомились в одном из трактиров Латинского квартала, в день, когда итальянские анархисты справляли поминки по умершему в Берне Михаилу Бакунину.

От выпитого накануне у Прокопа раскалывалась голова, июльская жара усиливала застарелую вонь мочи и отбросов. Симфонии запахов и боли вторил невыносимо высокий голос темпераментной брюнетки:

– Бакунин велик тем, что показал паразитический характер собственности, но его программа утопична и вредна. Уже то, что он поддерживал Нечаева, этого беспринципного кровавого убийцу…

Прокоп ничего не знал ни о вредной и утопичной программе, ни о кровавом убийце Нечаеве, но имя Бакунина всплывало из глубин сознания сквозь раздражение и боль: это был русский, участник Святодуховского восстания. С похмельным отчаянием он кинулся в спор и вскоре, чудовищно коверкая французские слова, уже рассказывал, как пушки князя Виндишгреца бомбардировали Прагу в июне 1848 года – к слову сказать, за пять лет до Прокопова рождения.

В тот вечер Прокоп нашел благодарную аудиторию для своих косноязычных рассказов: еще не затихло эхо расстрельных залпов на Пер-Лашез, были живы те, кто помнил 1871 год, помнил 72 дня свободы.

Тьер – версальский палач, карлик-чудовище – триумфатором заседал в палате депутатов. Анри Рошфор, бежавший из Новой Каледонии, слал в Париж письма, наполненные неисто вой яростью побежденного.

До амнистии выжившим коммунарам оставалось целых три года.

Кровь бунтовщиков смыли с мостовых, но она текла в жилах парижан, стучала в сердца разноязыких обитателей Латинского квартала. Той ночью, смешиваясь с дешевым кислым вином, она несла желание, страх и надежду, мерным гулом истории отдавалась в ушах Прокопа и Элен.

Такую музыку лучше слушать вдвоем – и они слушали ее вместе четыре года.

Они почти не расставались: даже в библиотеке сидели рядом, и Прокоп, поднимая глаза от страницы, где редкие немецкие слова терялись среди легиона формул, встречал антрацитовый блеск зрачков, в которых только секунду назад отражались разъятые тела со страниц анатомического атласа.

– Мы – как полюса магнита, – говорил Прокоп, пытаясь объяснить подобную синхронность.

– Животный магнетизм, – улыбалась в ответ Элен.

– Да, моя принцесса, – отвечал Прокоп.

Он звал ее татарской принцессой, татарской княжной. Кто-то сказал, что Элен – внебрачная дочь русской княгини, рожденная в Париже от французского любовника и отданная на воспитание в деревню (потому, мол, и фамилия ее – Герц, сердце, мол, дитя сердца, ребенок страсти). Прокопу понравилась эта история – а сама Элен ничего не говорила о своих родителях.

Когда заканчивался уголь и гас камин, они согревали друг друга способом, спокон веку известным всем любовникам, – но под утро тускнел даже этот неутомимый огонь. Тонкое одеяло и два прохудившихся пальто служили плохой защитой от морозного воздуха мансарды – в полудреме они лежали, тесно прижавшись друг к другу, не в силах пошевелиться. Серый рассвет вползал в замерзшие окна, и Прокоп сказал:

– Если бы между химией и медициной был тот же магнетизм, что между нами… – и замолчал, покусывая губу.

– Мы бы смогли победить болезни, – продолжила Элен, но не угадала.

– Нет, – сказал Прокоп, – мы бы победили смерть. Как Франкенштейн – животным магнетизмом.

Они по-прежнему лежали неподвижно, но Элен подумала, что Прокоп должен был почувствовать, как забилось ее сердце.

– Победим смерть, – повторила она, и в груди ёкнуло.

В свои десять лет Лейба Бернштейн знал, что ему безумно повезло. Бог – суровый, лишенный облика Бог, о котором часто говорил покойный дедушка Мозес, – послал Лейбе пана Прокопа, профессора Вальда. Бог привел Лейбу в большой каменный дом, Бог поселил его здесь, на кухне.

Все началось со швейной машинки «Зингер», с поломанной машинки тети Ривки. Маленький Лейба любил смотреть, как тетя шьет, как ходит вверх-вниз игла, крутится колесо, покрытое черным, потрескавшимся и истертым лаком, металл сиял сквозь проплешины теплым латунным светом. Лейбе нравились механизмы – коляски, газовые фонари, часы. Он любил тетю Ривку и любил стрекот «Зингера» – и когда холодным зимним днем игла замерла и звук растаял в воздухе, Лейбе стало грустно, грустно даже не от того, что тетя плакала, причитая, что не успеет сдать работу в срок и, значит, они опять будут голодать, –

нет, Лейбе не хватало привычного мелькания иглы, кружения колеса, пощелкивания скрытых механизмов.

И тогда он разобрал машинку, а потом собрал, а после крутанул колесо, и иголка опять пошла вверх-вниз, и машинка застрекотала. Как Лейба сделал это? Он и сам не знал. Даже дедушке не смог объяснить – но дедушка и не спрашивал, только принес старые часы и сказал: «Чини».

Через два месяца всё гетто знало: маленький Лейба Бернштейн – настоящий вундеркинд, чудо-ребенок. Наверное, поэтому полгода назад дедушка Мозес надел свой парадный сюртук и повел Лейбу в город. Там Лейба впервые увидел вагон, который катился по рельсам без лошади, а потом они пришли в большой дом на большой площади. На гербе у входа был изображен лев, держащий в лапах какой-то странный инструмент, – и Лейба подумал, что это добрый знак, ведь его и назвали в честь льва, Лейбом.

– Я скоро умру, – сказал в тот вечер дедушка Мозес, – не спорь со мной, я знаю. Ривка позаботится об остальных детях, а ты должен жить в доме пана профессора. Ты вырастешь и станешь инженером, будешь делать механизмы, будешь богатым человеком. Но ты должен учиться, много учиться. Ты понял меня, Лейба?

Лейбе не хотелось расставаться с дедушкой. Ему было страшно, что старый Мозес умрет, – но спорить было еще страшней. Лейба проглотил слезы и сказал:

– Да, дедушка, я понял.

И вот холодным ноябрьским вечером Лейба сидел на кухне и сквозь плохо прикрытую дверь смотрел, как пан Прокоп разговаривает с незнакомой пани. Она сказала, что ее зовут пани Хелена, и показала Лейбе фокус с исчезающим шариком. Пани была красивая, хотя уже очень старая.

Элен сделала глоток из хрустального бокала – и густое моравское вернуло губам цвет, которым они расцветали под поцелуями Прокопа много лет назад.

– Я рад, что Эйфелеву башню решили не разбирать, – сказал профессор Вальд. – Это лучший памятник нашему веку, веку прогресса и науки.

За окном громыхнуло. Бездомные по всей Европе прятались от дождя под мостами, в воротах. Прогресс и наука не могли ни согреть их, ни высушить.

– Почему? – спросил Прокоп и снова начал жевать губу.

– Что – почему? – не поняла Элен. Слишком много лет прошло – она больше не собирается угадывать.

– Почему ты больше не занимаешься медициной? – Похоже, эти слова дались Прокопу труднее, чем ей.

Элен пожала плечами – хотела равнодушно, а получилось зябко и потерянно.

– Не видела смысла, – и замолчала.

В самом деле – что ответить? Рассказать о женщинах, изможденных настолько, что их груди неспособны дать ни капли молока? О новорожденных, которые умерли от голода и нищеты, не прожив и нескольких недель? О редких выживших счастливцах, обреченных рыться в отбросах на обочинах тонущих в грязи улиц?

Детские тела, едва прикрытые лохмотьями.

Пятна крови на грязных тряпках.

Чахотка. Дизентерия. Сифилис.

– Медицина бессмысленна, – сказала Элен. – Какие лекарства можно прописать тем, у кого часто нет денег на еду?

Прокоп угрюмо посмотрел из-под густых бровей.

– Чистую воду, свежий воздух, физические упражнения, – сказал он.

– И еще солнечный свет, – добавила Элен.

Прокоп знал, что теперь Элен скажет: в городах нет чистой воды и свежего воздуха, а в деревнях – работы. В трущобах люди умирают от грязи и нищеты, а в деревнях – от голода.

– Не существует лекарства от нищеты, – сказал Прокоп, – но это не значит, что…

– Лекарство от нищеты существует, – перебила Элен.

Можно ли спасти обреченных на голодную смерть? Можно ли помочь тем, кто лишен всего?

Эти вопросы не давали Элен покоя, и каждый год она заново отвечала на них: «Да, можно!»

Прокоп Вальд каждым своим экспериментом утверждал могущество науки и прогресса – Элен боролась за лекарство от нищеты, за исцеление больных и за спасение умирающих.

Элен знала лекарство, потому что ей была известна причина болезни, имя гибельного микроба, заразившего мир, убивавшего людей во Франции, в Америке, в России.

Микроб назывался «собственность» – и его уничтожению Элен посвятила свою жизнь.

Впрочем, она не знала об этом четырнадцать лет назад, когда они стояли на набережной Сены, еще не прославленной как место встреч и расставаний влюбленных.

– Я получил место в пражской Политехничке, – сказал Прокоп и замолчал.

– Я не поеду с тобой, – сказала Элен. – Я должна окончить университет. Ты знаешь, еще год.

Мутные, грязные воды текли на запад, унося мечты парижан, их надежды, ожидание счастья.

– Выходи за меня замуж, – сказал Прокоп, будто не слыша.

Я ни за кого не выйду замуж, хотела сказать Элен, но только прижалась щекой к посеревшему от осенних дождей сукну старой шинели Прокопа.

– Мы будем вместе жить в Праге, – сказал он, – мне дадут квартиру. У нас будут деньги, тебе не придется работать.

Элен хотела сказать: «Может, ты останешься в Париже?», – но вместо этого в последний раз прижалась к его плечу и сказала:

– Нет. Я не признаю брак. Брак – это рабство. Любовь существует, только пока она свободна.

Свобода. Высвобождение энергии. Взрыв.

Именно это составляло суть научных интересов профессора Вальда, ставшего за годы разлуки с Элен лучшим в Европе специалистом по взрывчатым веществам.

Взрыв – универсальная метафора. Страдающие от нищеты и бесправия народные массы подобны динамиту – они ждут только искры, которая высвободит скрытую энергию бунта, восстания, революции. Первый взрыв – и детонация! Вся Евро па, весь мир охвачены огнем, который испепелит собственность и государство, огнем сияющей любви к человечеству, огнем, приносящим освобождение.

Элен не раз слышала подобные слова – в любом анархистском кружке Европы хватало проповедников спасительной искры, способной воспламенить народные массы. Она лишь пожимала плечами – навидалась говорунов за те десять лет, что причисляла себя к анархистам. К тому же в этом образе – искра, воспламеняющая пассивную массу, – ей чудилось что-то непристойное. Словно народ был женщиной, которой должен овладеть анархист-насильник – не спрашивая согласия, заранее уверенный, что следом за его крошечным взрывом неизбежно последует ее мощная детонация.

Элен была женщиной – и знала, что не от каждой искры вспыхивает пламя.

Но на самом деле – никогда не знаешь, от чего вспыхнешь.

Элен нравились взрослые, уверенные в себе мужчины, опытные, много повидавшие. Впервые увидев Эмиля Анри, она даже не обратила на него внимания. Худощавый, с едва заметными усами и небольшой бородкой. Еще один мальчишка, начитавшийся Кропоткина. Ему было всего двадцать, и Элен несколько раз встречала его старшего брата в кафе, где собирались анархисты.

Впервые они разговорились 11 июля, в годовщину казни Равашоля. Вспоминали, как Равашоль отказался от капеллана и поднялся на эшафот, распевая песню. Последними его словами были *"Vive la r…"* – конечно, он хотел сказать: «Да здравствует революция!»

Тогда-то Эмиль и заметил, что смерть Равашоля сделала для дела анархизма больше, чем все нападения и взрывы, осуществленные им при жизни.

– Христиане две тысячи лет говорят о жизни вечной, – сказал Эмиль, – но все равно боятся смерти. А Равашоль умер с песней на устах – хотя никакой Иисус не ждал его за гробом.

– Я стала анархисткой, чтобы бороться со смертью, – промолвила Элен.

Она хотела добавить, что до этого была врачом, но почему-то промолчала.

– Чтобы бороться со смертью, – ответил Эмиль, – надо ее не бояться. Надо быть готовым умереть.

Тогда-то Элен и заметила, какие у него глаза – такие же антрацитово-черные, с тем же скрытым алмазным блеском. Тем летом она часто вспоминала взгляд Эмиля – и все чаще и чаще встречалась с ним в парижских кафе.

Но любовниками они стали только в декабре – в тот день, когда Огюст Вайян бросил бомбу с галереи палаты депутатов. Эмиль ворвался к Элен домой, и новость, подобно взрывной волне, бросила их в объятия друг друга.

– Это – месть за Равашоля, – произнес Эмиль, когда снова смог говорить.

Несколько секунд Элен обдумывала, что он имел в виду – акт любви или атаку Вайяна, – но решила не уточнять. Эхо недавнего взрыва все еще вибрировало в глубине ее тела: это был тот самый случай, когда детонация во много раз превосходила энергию искры.

Она не могла понять, что возбудило ее: неопытная страстность Эмиля или железные гвозди, разлетевшиеся по палате депутатов?

Всю ночь, переходя из кафе в кафе, они ждали революции, но ничего не случилось. Утром, когда прощались у ее дверей, Элен не предложила Эмилю войти.

От атаки Вайяна никто не погиб – взрыв получился совсем слабым. На суде Вайян сказал, что таков и был его план. «Если бы я хотел убить, то заложил бы больший заряд и начинил кастрюли пулями, а не гвоздями».

Разумеется, судьи не поверили. Последними словами Вайяна были: «Да здравствует анархия!»

Еще одна смерть, еще одна искра, упавшая на сырое сено, – никакого взрыва, только новые разговоры в тех же самых кафе.

– Может быть, сейчас, – говорил Эмиль, – сотни молодых людей в ярости сжимают кулаки, но ничего не знают друг о друге, и каждый боится выступить в одиночку.

– Если бы мы могли наладить собственную почту, – предложил рыжебородый молодой человек, – что-то вроде секретной голубиной почты, только быструю, как телеграф. Чтобы можно было мгновенно послать короткую записку во все концы мира…

– И что тогда? – спросила Элен.

– Тогда бы люди одновременно узнавали новости. Они бы могли переписываться, в конце концов объединились бы, и тогда – революция стала бы неизбежной.

– Никакой телеграф не сделает революцию, – ответил Эмиль, – а человек, неспособный выступить в одиночку, недостоин того, чтобы с ним объединяться.

На следующий день он бросил бомбу в кафе «Терминус» на вокзале Сан-Лазар. На этот раз бомба была сделана по всем правилам – один убитый, два десятка раненых.

Когда Эмиля арестовали, портрет худощавого двадцатилетнего мальчишки был во всех газетах: злодей для буржуа, герой анархистов, последняя любовь Элен.

Даже спустя сто с лишним лет легко найти текст речи Эмиля Анри на суде. Анархистские газеты, брошюры и веб-сайты повторяют следом за ним: «Вы можете вешать нас в Чикаго, рубить головы в Германии, душить гарротой в Испании, гильотинировать во Франции, но есть одно, что вы не можете убить: сам анархизм».

В 1894 году власти Европы тоже услышали эти слова и, словно в насмешку, перевернули: возможно, анархизм в самом деле нельзя убить, но можно уничтожить анархистов – и вот уже десятки революционеров были арестованы в Италии и во Франции, а сотни испанских бойцов обречены заживо гнить в барселонском Монжуике.

Народные массы оставались инертны.

Элен осталась на свободе. После смерти Эмиля она отдалилась от прежних друзей. Иногда она думала, что ее бурная страсть внушила Эмилю ложную мечту – послужить детонатором большого взрыва. Иногда думала, что вообще больше не верит в спасительную искру, в то, что имеет смысл жертвовать жизнью, чтобы пробудить народ. В одиночестве Элен вспоминала погибших и однажды поняла, что главным были не сами взрывы, а новости о них. Неважно, кто погиб, да и погиб ли кто-нибудь, – важно, чтобы об этом написали газеты, а предсмертную речь анархиста прочитали не только буржуа, но и рабочие.

Искра, которая вызовет взрыв, не должна быть действием, поняла Элен. Достаточно, чтобы это была новость о действии.

Не нужно реальных взрывов. Можно придумать серию вымышленных нападений, о которых напишут газеты, – и вымышленных анархистов, героически погибающих с революционными лозунгами на устах.

Элен старалась не думать, что эти вымышленные герои не смогут заменить Эмиля – человека из плоти и крови.

Ее план был неосуществим: французский закон запретил присяжным судить анархистов, а газетам – публиковать выступления на суде. Анархистские книги и брошюры были приравнены к непрямому призыву к убийству.

Элен подозревала, что какой-нибудь осведомитель рассказал о ее плане полиции.

Но, может, устав бороться с людьми, государство стало бороться с идеями.

Государство и свобода несовместимы – если кому-то нужно было еще одно доказательство, Франция его предоставила.

Лучшее будущее, за которое Элен хотела отдать жизнь, ускользало, таяло в тяжелом осеннем тумане конца века. Даже хлеб отдавал горьким привкусом поражения. Мечта обернулась пшиком, и воспоминания – всё, что ей оставалось: товарищи по борьбе рассеялись по миру, мужчины, которых она любила, казнены или брошены в тюрьмы.

И тогда она подумала о профессоре Прокопе Вальде. Нет, не вспомнила – она всегда помнила о нем, – а подумала, но не как о давнем любовнике, а как о человеке, который спасет ее, спасет всех.

Если искра не может вызвать взрыв, значит, она недостаточно горяча.

Эмиль Анри первым понял: не бывает невинных буржуа. Хватит убивать судей, полицейских и монархов: нужно бросать бомбы в кафе, где сидят обыватели. Нужно, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности, чтобы каждый, кто признаёт государство, ответил как соучастник его преступлений.

Но чтобы взорвать тихий мир обывателя, недостаточно динамита: для этого нужна взрывчатка помощней.

– Ты можешь это сделать, – сказала Элен. – Я следила за тобой все эти годы, я читала в газетах о твоих изобретениях. Ты один можешь сделать взрывчатку такой силы, чтобы мир содрогнулся.

– И что потом? – спросил Прокоп. – Вы взорвете пол-Парижа?

– Нет, – ответила Элен, – мы устроим взрыв на каком-нибудь необитаемом острове, далеко в океане. Это должен быть такой взрыв, чтобы от острова не осталось и следа. И когда мир узнает – он ужаснется. Государство падет, потому что в наших руках будет сила бóльшая, чем сила государства: сила науки.

У него стал тяжелый взгляд, совсем не такой, как четырнадцать лет назад. Прокоп смотрел на нее из-под густых бровей, его большие руки неподвижно лежали на столе.

– Альфред Нобель думал, что динамит сделает войну невозможной, – сказал Прокоп, – но динамит сделал ее еще смертоноснее. Я не повторю его ошибки.

Каждый совершает свои ошибки. Элен поняла: ей не нужно было приезжать в Прагу, не нужно было просить помощи у Прокопа. Она все поняла, как только увидела его: былая искра погасла. Он не мог воспламенить Элен, не мог воспламенить весь мир.

Много лет назад он выбрал науку, а не любовь.

Возможно, чтобы сохранить искру, Прокопу нужно было оставить химию, как она оставила медицину. Нужно было принести жертву.

Впервые Элен подумала, что Эмиль был прав, выбрав героическую юную смерть, – она не хотела бы увидеть его постаревшим и потускневшим.

Танец атомов, сходящихся и расходящихся. Свободная любовь атомов, не знающая ни брака, ни государства, ни церкви.

Бесконечная энергия объединения.

Взрывы, которые должны смести всю Европу.

Взрывы, призванные соперничать не с громом, а с разрушительным огнем Содома и Гоморры. Универсальное оружие, последний вызов Богу.

– Мы не заговорщики, – сказала Элен, – все это ерунда, про мировой анархистский заговор. У нас нет организации, нет вождей. Нас объединяют идеи, и потому мы непобедимы – идеи нельзя победить. Может быть, прямо сейчас юношав маленьком городе читает о пропаганде действием и становится анархистом.

– Идеи – как магнитное поле, – кивнул в ответ Прокоп, – а люди – как железные опилки. Стоит опилкам оказаться рядом с магнитом – они выстраиваются в строгий узор. Хотя каждая из частиц железа не знает, что она – часть единого порядка.

Элен сердито тряхнула головой:

– Да нет же! Нет ни организации, ни заговора, ни порядка. Мы хотим разрушить любую организацию, любой порядок, хотим вернуть в мир хаос – и в этом хаосе обрести гармонию.

Прокоп улыбнулся:

– Гармония, возникающая из хаоса?

– Да, – ответила Элен, – твоя наука об этом не знает?

– Наука, – сказал Прокоп, – знает обо всем. Почти обо всем. Остались мелкие детали, которые нужно доработать, а все главные задачи уже решены.

Если бы атомы могли смеяться, Прокоп услышал бы хохот. Пройдет всего три дня, и пятидесятилетний руководитель физического института Вюрцбургского университета будет с недоумением смотреть на зеленоватое мерцание кристаллов бария, случайно забытых на столе. Катодная трубка плотно замотана черной бумагой, но кристаллы как будто знают, включена она или нет! Этому возможно только одно объяснение – какие-то неведомые лучи проникают сквозь черную бумагу.

Он почувствует волнение, но тоже не будет знать, что стоит в начале длинной цепи открытий, которые за тридцать лет полностью изменят представление человека об атомах и структуре материи.

Но даже если атомы хохочут, Прокоп не слышит их смеха: он смотрит на Элен. Лицо ее раскраснелось, тонкие пальцы сжаты в кулаки.

– Помнишь, – говорит он, – Прудон писал, что общественная собственность неизбежно победит? Уже сейчас появляются общественные парки, бесплатные музеи… может, стоит просто подождать?

– Подождать? – Голос Элен прерывается. – Тебе хорошо ждать здесь, в своей профессорской квартире, полученной от правительства, которому ты продаешь свою взрывчатку!

– Это неправда! – Прокоп багровеет. – Я получил профессора за технологию очистки и перегонки нефти! Моими патентами пользуются «Ройял Датч» и «Шелл»!

– Твоими патентами! – с презрением отвечает Элен. – Ты живешь на свои патенты как на ренту, а миллионы бедняков умирают в трущобах! Кто накормит их детей? Кто спасет их дочерей от панели и публичного дома?

Анархистская княжна, принцесса-анархия. Прокоп видит, как вздымается ее грудь, как сжимаются тонкие пальцы, слышит дрожащий от волнения голос, прерывистое дыхание…

Если бы он тогда уговорил ее поехать в Прагу, все было бы иначе.

– Их спасет наука, – отвечает Прокоп. – Наука накормит всех. Прогресс даст нам новую пищу. Поверь, в XX веке никто не будет голодать.

Нет, все-таки жаль, что атомы не умеют смеяться, – и Элен смеется сама, горько и отрывисто.

– Глупый Прокоп, – говорит она, – глупый, глупый старый Прокоп. Прага совсем свела тебя с ума. Ты веришь в философский камень, в превращение элементов, в эликсир молодости, в чудо-пищу, которая накормит мир.

За окнами крадется пражский туман, обволакивает дом профессора Вальда, стелется по сырым улицам, заползает в Йозефов, окутывает старые, предназначенные к сносу еврейские дома, клубится над крышей Староновой синагоги, ищет спрятанного Голема, вьется над статуями Карлова моста, нависает над Молдау, перекатывается через Олений ров, приникает к окнам Града, выкликает призрак императора Рудольфа, короля-алхимика…

А в комнате Прокопа замирает смех, остается только улыбка – такая же, как в Париже много лет назад. Элен улыбается, и антрацитовый блеск ее глаз – словно маяк, горящий в тумане.

Неподвижно они сидят друг напротив друга – словно две аллегорические фигуры, два провозвестника нового века. Им кажется, совсем просто сделать людей счастливыми – если не наука, то справедливое социальное устройство решит эту задачу.

Через сто лет жители Европы в священном ужасе замрут на развалинах двух великих утопий: революционеры предстанут одержимыми властью невежественными чудовищами, ученые окажутся виновниками грядущей экологической катастрофы.

Лейба плохо понимает, о чем говорят пан Прокоп и пани Хелена. Они ни слова не сказали по-чешски, а говорили на двух языках, один из которых совсем незнаком Лейбе, а другой похож на язык дедушки и тети, язык гетто.

На этом языке пани Хелена говорила, что в мире не должно быть бедных и богатых, люди должны жить по любви и никто не должен ими командовать. Лейба подумал, что ему бы понравилось жить в таком мире, вот только непонятно, как же богатые сами откажутся от своего богатства?

Лейба слушает, глаза его закрываются, и уже во сне он понимает, о чем говорили пан Прокоп и его гостья. Сначала – о механике, а потом пани Хелена предлагала профессору

жить вместе, и Лейба порадовался, что теперь, когда они станут мужем и женой, он будет их сыном, – но пан Прокоп покачал головой и сказал, что кроме науки ему не нужно другой жены, и во сне Лейба чуть не заплакал от обиды, но потом появился дедушка, погладил Лейбу по курчавым волосам, точь-в-точь как при жизни. Погладил, а потом взял за руку и повел туда, где нет ни богатых, ни бедных, где все живут в любви и согласии, – и десятилетний Лейба, свернувшись калачиком на кухонном полу, сладко улыбается во сне.

* * *

Они танцуют – и музыка заглушает слова, заглушает шорох одежды, перестук каблуков. Они танцуют – и волосы выбиваются из прически, губы приоткрываются в улыбке (или чтобы глотнуть воздуха?), глаза вспыхивают азартом, куражом, драйвом. Они танцуют.

Их окружает сияющее море огней – и они плывут сквозь это море, один за другим, пара за парой… дрожь чужого тела, слабый запах чужой плоти, трепет прикосновения… каблуки, каблуки, каблуки…

Музыка заглушает слова, но все понятно и без слов, встречаются взгляды, губы приоткрываются в улыбке… они танцуют, все вместе, всем залом, огромный, уходящий в бесконечность танцпол, погруженный в мерцание огней… волшебный корабль, плывущий на Остров Любви… они все – на его борту, все – в одной лодке, все вместе…

Кажется, не хватит дыхания; кажется, вместе с воздухом душа срывается с полуоткрытых губ, покидает тело, взлетает к потолку лазоревой птицей… сегодня они – все вместе, непрерывный танец, волнение, восторг, экстаз…

Они танцуют – и музыка заглушает слова, заглушает шорох одежды. Они танцуют – и в этот головокружительный миг обретают легкость и свободу, покидают усталые тела, больше не принадлежат времени.

9.1
1931 год
Шанхайский тропик

Старый англичанин, почти потерявший ум от опиума, сказал Генри несколько лет назад:

– Если тебе повезло и ты в молодости жил в Шанхае, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Шанхай – это…

Тут англичанин замолчал, словно пытаясь подобрать слова. К тому моменту Генри уже знал все стандартные продолжения – «Париж Востока», «вавилонская блудница Китая», «столица Евразии», – но старик пожевал сухими губами и выплюнул: «…это Шанхай», словно отчаявшись найти определение.

Шанхай не был Парижем, не был Вавилоном, не был ни Содомом, ни Гоморрой – он был сам собой и больше ничем.

Душным летним днем 1931 года Генри стоял в тени платана на авеню Жоффе и смотрел, как мимо течет поток пешеходов и рикш. Проезжали американские автомобили, пробежал в своей остроугольной шляпе китайский разносчик. Громко говоря по-французски, прошли две девицы с кружевными парасольками, и Генри попытался представить их голыми, с раздвинутыми ногами, на широченной кровати или, наоборот, слившихся в слюнявом поцелуе.

Он выплюнул окурок на мостовую и вполголоса выругался. Черт его дернул отправиться во французский квартал, когда в кармане ни цента, в животе пусто, в штанах – чудовищна эрекция. Лучше бы он пошел в китайскую часть Шанхая, где жалкие прогнившие постройки заваливаются друг на друга, точно в утробном объятии. Китайцы щурятся, словно не могут разлепить свои узкие глазки. От стен струится вонь прогорклого бобового масла, в лучшем случае – сладковатый запах опиума. Вот оно, настоящее убожество, свалка человеческих отбросов!

В прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквер или в районе босяцкой Бауэри Генри привлекали десятицентовые кунсткамеры, где были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Он часто вспоминал об этом в Шанхае: вот он, великий город, огромный заразный больной, разбросавшийся по постели.

Красивые улицы выглядят не так отвратительно только потому, что из них выкачали гной. Полицейский-сикх в тюрбане машет руками на перекрестке, каменные львы дремлют у ворот биржи, маленькая нищенка пристает к иностранцам: «Нет мама, нет папа, нет еда, нет чоу мэнь, нет виски-сода».

При мысли о еде сводит желудок. Ну, ничего, главное – дотянуть до вечера: Филис обещала познакомить в «Маджестике» с богатым англичанином, который от нее без ума.

– Ты представить себе не можешь, дорогуша, он чистый ангел. Мы заметили друг друга на ипподроме, два дня назад. Мы встречаемся каждый вечер, ты не поверишь. Он говорит, что всегда хотел встречаться с американкой, потому что американки в сексе – то же самое, что «роллс-ройс» для автомобилей. Ты представляешь, дорогуша? Он сравнил меня с «роллс-ройсом». И еще с вазой, как ее, миньской вазой. То же самое, что «роллс-ройс» для автомобилей и миньские вазы для фарфора. Ты не знаешь, что такое минская ваза?

– Древняя ваза династии Мин, – ответил Генри, – дорогая чудовищно.

– Вот и я тоже – чудовищно дорогая, – рассмеялась Филис. – Видишь, какие туфли Альберт купил мне на Нанкин – роуд?

И Филис перекинула ногу через ручку кресла, демонстрируя Генри лаковую туфлю на высоком каблуке и заодно – черно-белый узор своих чулок.

– Дорогуша, он сказочно богат и без ума от меня. Пока он в Шанхае, мы не будем знать никаких забот! Кроме того, он может познакомить меня с импресарио!

Значит, «Маджестик», напоминает себе Генри. Вот и хорошо.

Альберт заказал три «джин слинга», они выпили за знакомство. По лакированному полу танцзала скользили пары, мужские руки обхватывали девушек, женские ноги мелькали в разрезе ципао, груди вздымались в декольте бальных платьев. Русский оркестр играл фокстроты и вальсы. Две дюжины такси-дансерз сидели на стульях вокруг танцпола, ожидая клиентов.

– Ты знаешь, милый, что это – историческое место? – сказала Филис. – Здесь Чан Кайши женился на своей мадам.

– Я думал, они должны были жениться в каком-нибудь храме. Буддийском или конфуцианском, кто они там? – удивился Альберт.

Альберт оказался широкоплечим светловолосым крепышом, с удивительным сочетанием волевого британского подбородка, по-детски припухлых губ и доверчивого взгляда карих глаз. Он прибыл в Шанхай неделю назад, остановился в «Астор-хаусе» и во всем городе не знал ни единой души, кроме Филис и своего полубезумного дяди, полковника Чарльза Девиса.

– Они христиане, – сказал Генри, – Чан Кайши и мадам Сун. Но об этом предпочитают не слишком распространяться. Церемония была у них дома, а здесь вечеринка. Полторы тысячи гостей, что ли. Оркестр Уайти Смита из Сан-Франциско. *Here Comes the Bride, Always, A Love Nest* – не хуже, чем у вас в Лондоне.

– Вы там были? – спросил Альберт.

– Да, – кивнул Генри, – я как раз приехал из Нью-Йорка.

Это было почти правдой: Генри в самом деле приехал в Шанхай четыре года назад, но ни на какую свадьбу генералиссимуса его, конечно, не звали. Впрочем, достаточно было открыть любую газету, чтобы узнать детали.

– У нас пишут, что Чан Кайши – националист, – сказал Альберт. – Я думал, он должен выступать против западных влияний, как боксеры когда-то.

– Ерунда, – сказал Генри, – Чан – современный националист. Это значит, что он хочет сделать Китай таким же, как Америка. Китай меняется, приятель, – ты только посмотри вокруг.

Альберт послушно огляделся: колонны подпирали полукруглый псевдоклассический свод, у дальней стены уменьшенная копия такого же свода раковиной охватывала оркестр. В нишах второго яруса стояли слепки античных статуй, беломраморных, как и фонтан в центре зала.

– Пойдем танцевать, милый, – сказала Филис. – Шанхай – чудовищный город. Одинокой девушке негде провести время: мужчины танцуют только с хостесс.

Альберт и Филис присоединились к танцующим, Генри заказал стейк и еще три коктейля: было уже понятно, что Альберт платит за все – за еду, напитки и танцевальные билеты, купленные при входе.

– Милый, ты, конечно, будешь танцевать только со мной, – сказала Филис, – но не купить билетик – это дурной тон.

Генри взял три билета и выбрал высокую молодую блондинку: ее вырез приходился как раз на уровень его очков. Двигаясь по блестящему полу, он вдыхал запах теплого женского тела и жалел, что хостесс из «Маджестика» слишком дороги для него: они строили из себя настоящих дам и вовсе не с каждым соглашались отправиться в постель, в отличие

от девчонок с улицы Чжу Бао-сан, она же – «кровавый переулок», грошовых шлюх из Транше́й, печально знаменитых кварталов Хункоу.

Танец закончился, Альберт и Филис вернулись за столик.

– Что вы делаете в Шанхае? – спросил Генри.

– Не знаю, – пожал плечами Альберт. – После Оксфорда решил попутешествовать по миру. И вот здесь подзадержался немного…

– Я журналист, – ответил Генри. – Писал для нью-йоркских газет, но после кризиса… короче, работы нет нигде, а жизнь тут дешевле, чем в Нью-Йорке.

– Альберт, милый, меня можешь даже не спрашивать, – сказала Филис. – Я тоже просто так прожигаю здесь свою юную жизнь… приплыла из Сан-Франциско, там така-а-ая скука! Денег пока хватает, но, если что, я всегда могу устроиться продавщицей в каком-нибудь магазине на Нанкин-роуд. У меня есть опыт, да!

– На самом деле, – сказал Генри, – Филис – певица. Это она шутит, про магазин.

– Да, конечно, – кивнул Альберт. – Я знаю, она мне говорила. У нее контракт в одном из здешних кабаре.

Интересно, подумал Генри, почему ему не приходит в голову спросить, когда же она поет в своем кабаре, если каждый вечер они вместе ходят по барам и танцзалам?

Он поднял высокий стакан.

– За Шанхай! – произнес он. – И за нашу встречу!

Китай меняется, приятель, сказал Генри неделю назад. В его словах звучала гордость старожила, но вообще-то он тосковал по временам, когда только приехал сюда. Четыре года назад белые еще были хозяевами в Шанхае: любой ресторан и любой магазин принимали расписки – *читы* – вместо наличных, а поскольку китайцы собирали долги только перед Новым годом, всегда можно было сменить гостиницу и навечно затеряться в этом городе.

Это было прекрасное место для белого человека, но все-таки не тот роскошный и богатый город, каким он стал сейчас. Иранские евреи, разбогатевшие на торговле английским опиумом, еще не застроили Бунд небоскребами. Неоновые рекламы не так густо покрывали Нанкин-роуд, еще не открылись «Цветок персика» и «Черный кот» – первые ласточки сверкающей стаи новых шанхайских кабаре.

Это был город лихорадочных заговоров, преступных и героических агентов Коминтерна, националистов, рвущихся к власти, и белых русских, проигравших свою страну в далекой кровавой войне. Город нищего разврата, безнадежного, отчаянного блядства, неприкрытого убожества, откровенного грабежа. Три полиции – французская, британская и китайская – словно соревновались друг с другом, кто подешевле продаст закон и порядок.

Генри помнит опийные притоны, сладковатый запах, стелящийся по улицам, стук костяшек маджонга и скрип рулеточного колеса, доносящиеся из окон на любой улице. Деньги, которые не доставались шлюхам, уходили содержателям казино и собачьих бегов: в конце концов, их всех контролировали одни и те же люди, не то из полиции, не то из местных банд.

Два года назад Генри подсел на собачьи бега: чередуя Стадион, «Луна-парк» и Канидром французского квартала, он тратил все деньги, которые переводили из Нью-Йорка, куда он раз в неделю писал для «Чикаго Трибьюн» репортаж о таинственной и преступной Азии. Пересказы местных сплетен Генри уснащал экзотическими деталями, почерпнутыми из фильмов про Фу Манчу, что, по его идее, должно было вызвать доверие у американского читателя, знакомого с Китаем только по кино.

Потом все закончилось: сначала американские деньги, а следом – собачьи бега. Целый год Гоминьдан требовал запрещения собачьих бегов – говорили, что запрет продавили конкуренты, мексиканские и китайские владельцы казино. Прошлым летом сдались англичане из международного сеттль мента, закрылись «Луна-парк» и Стадион. Любителям гончих

остался только Канидром, да и то потому, что его владельцем был всесильный Ду Юэшэн, глава Зеленой банды, самой крупной преступной организации Шанхая.

– Гангстер? – спросил Альберт. – Как у вас в Чикаго?

– О нет, – ответил Генри, – совсем не как в Чикаго. Это же Китай: здесь гангстеры не воюют с полицией, они с ней сотрудничают.

– Дорогуша, – сказала Филис, – я и в Америке знавала города, где гангстеры сотрудничают с полицией. Собачьих бегов там не было, зато были казино.

– Казино тоже принадлежат Ду, – сказал Генри, – и половина танцзалов. Надеюсь, Альберт, это не покоробит вашу английскую честь?

– Это о'кей, – ответил Альберт, – я не боюсь крутых парней.

Он все время старался вставлять в речь американские слова. Генри только посмеивался, а Филис злилась:

– Милый, зачем ты изображаешь из себя Аль Капоне? Ты ведь настоящий ангел.

В ответ Альберт старался улыбнуться позагадочней и поглубже надвинуть шляпу на глаза. После третьего коктейля это выглядело очень смешно.

Этим вечером деньги Альберта принесли Генри удачу: на выходе из Канидрома в потрепанном бумажнике лежало 150 долларов. Альберт и Филис проиграли по полсотне каждый, но все были счастливы и пьяны. Генри крикнул двух рикш почище и велел везти на авеню Фош, в казино «Фушен».

Амфитеатр игральных столов, хрустальные люстры, широченная барная стойка, неумолчный – днем и ночью – шум: стук рулетки, шелест карт, шепот игроков, разговоры на всех языках мира, больше всего – на английском (а чему удивляться? Англия все еще королева морей!). Малайцы, сингапурцы, китайцы, египтяне, французы, русские, американцы… да, четыре года назад белые и цветные не смешивались так сильно.

Альберт взял фишек на всех, Генри поставил десятку на красное.

– Милый, будь ангелом, – сказала Филис Альберту, – возьми мне еще коктейль.

Альберт взмахнул рукой, подзывая боя. Раздался звон разбитого стекла.

Генри всегда знал, что блондины легко краснеют, но не ожидал, что лицо англичанина станет буквально свекольным.

– Ради Бога, извините, леди, – сказал он, оборачиваясь к соседке, – я такой неловкий…

Альберт запнулся на полуслове: рядом стояла молодая китаянка в шелковом, расшитом райскими птицами платье с короткими рукавами, открывавшими нежную кожу маленьких рук. Украшенные жемчугом волосы были уложены ажурными спиралями и арками, напоминая какую-то экзотическую шляпку. Генри не раз встречал таких девушек – причудливо одетых дочерей богатых китайцев. Они всегда казались ему смешными и жеманными, особенно когда по местному обычаю при разговоре почтительно наклоняли голову. На их фоне даже Филис казалась чудом естественности и хорошего европейского воспитания.

– Ничего страшного, сэр, – сказала китаянка Альберту, – бой сейчас уберет.

У нее был чудовищно забавный акцент – как, впрочем, у всех китайцев. Что поделать: чертовы азиаты настойчиво пытаются говорить по-английски.

– Позвольте, я закажу вам другой коктейль, – сказал Альберт и добавил: – У вас прекрасный английский.

– Вы слишком добры ко мне, – ответила девушка, склонив голову.

Выпало красное. Крупье пододвинул выигрыш Генри, и тот снова поставил – на этот раз на нечет.

– Я восхищен Шанхаем, этим лицом нового Китая, – сказал у него за спиной Альберт.

– О нет, – ответила девушка. – Шанхай – вовсе не китайский город. Его построили иностранцы, чтобы ввозить сюда индийский опиум.

В конце концов националисты совсем испортят этот город, подумал Генри. Теперь азиаты не только ходят с нами в одни казино и танцзалы, но и каждая узкоглазая дура норовит поговорить о политике.

– Где же иностранцу увидеть настоящий Китай? – спросил Альберт.

Девушка улыбнулась – впрочем, она почти все время улыбалась – и сказала, что можно хотя бы съездить в Сучжоу, посмотреть знаменитый канал и цветущие сады, хотя, конечно, лучше подождать весны.

– Я не уверен, что останусь здесь так надолго, – сказал Альберт.

Двадцать долларов перекочевали на сторону крупье. Генри сделал еще одну ставку, потом еще одну. Стоявшая рядом Филис не отрываясь смотрела на кружащийся шарик, раз за разом ставя на черное. Когда фишки закончились, она повернулась к Альберту.

Китаянка шла к выходу, молодой англичанин задумчиво глядел ей вслед.

– Кто это девушка? – спросил он боя.

– Это госпожа Су Линь, она часто бывает здесь.

– Милый, зачем тебе эта китайская кукла? – сказала Филис. – Лучше закажи выпить и попроси принести еще фишек.

– Мне кажется, тебе уже хватит на сегодня, – сказал Альберт, и Генри понял, что тот обиделся за «китайскую куклу».

– Дорогуша, я сама решаю, когда мне хватит, – ответила Филис. – Если тебе не нравится, сколько я пью или как я играю, можешь сказать мне об этом прямо – я уйду, и ты больше меня не увидишь. Я не какая-нибудь русская танцорка, чтобы позволить так со мной разговаривать! Я человек искусства, я певица! И, Генри, если ты не перестанешь смеяться, нашей дружбе конец!

– Скажи, Генри, она всегда такая сумасшедшая? – спросил Альберт.

– Нет, что ты, – ответил Генри. – Только с мужчинами, которые ей нравятся.

– А я ей нравлюсь?

– Конечно. Разве ты не видишь?

Альберт пожал плечами:

– Я был уверен, что она… как это сказать? – доступная девушка. Но мы вместе уже две недели, и мне ни разу не удалось…

Боже мой, подумал Генри, все-таки Филис – та еще штучка. Нельзя так изводить мужика, да еще и все время тянуть из него деньги.

– То есть ты уже почти месяц в Шанхае и еще ни разу не пробовал здешней манды?

Альберт покраснел.

– Да, я ни разу не трахался, – отважно сказал он. Глагол дался ему с большим трудом.

– Похоже, – сказал Генри, – если я не возьму дело в свои руки, ты так и уедешь отсюда, не расстегнув ширинки. Но не горюй, парень, сегодня твой день, точнее – твоя ночь. Я отведу тебя в «Дель Монте».

– Это бордель?

– О нет, это кафе, которое держат белые русские. Оно лучше любого борделя, поверь мне.

– А не поздно? – спросил Альберт.

– Там все только начинается.

– Тогда мне нужно еще выпить.

Надо было уговорить его взять рикшу, думал Генри, вышагивая рядом с Альбертом к западной окраине французского квартала. Что значит «мне надо прогуляться»? Если есть деньги – нужно ехать, а не идти ногами. Все-таки верно говорят – богатые совсем другие люди.

– Ты понимаешь по-китайски, Генри? – спросил Альберт.

– Немного. Выучился в первые два года, завел себе «спящий словарь». Если хочешь здесь задержаться – тоже советую.

– Что это?

– Любовница-китаянка. Только должна быть настоящая китаянка, без всяких этих модных европейских штучек, как твоя красавица в казино.

– В Оксфорде рассказывали, что китайские гейши владеют секретным искусством любви.

– Гейши – это в Японии, – назидательно сказал Генри. – Здесь они называются *шуюй*, но мы зовем их *sing-song girls*. Они ходят на банкеты или званые вечера и поют всякую китайскую тягомотину. До того, как китайцам привезли кино и научили их танцевать чарльстон, здесь было довольно плохо с развлечениями – девушки шли нарасхват. Само собой, давали они не каждому, да и вообще – это довольно хлопотное дело, обхаживать такую девицу. А были еще *чансань*, что-то вроде куртизанок. Там вообще сплошные китайские церемонии. Ни по жопе похлопать, ни пообжиматься. Ходишь в ее цветочный домик неделю за неделей и носишь подарки. Охренеть можно. Неудивительно, что теперь все китайцы как с цепи сорвались – ну, когда здесь стало все как у людей.

– А эти чансань – они еще остались? – спросил Альберт.

– Одно название. Теперь плати деньги – и вперед. Можешь сходить на Фучжоу-роуд и проверить, если будет охота. Но если ты хочешь настоящей дорогой азиатской манды, надо брать японок. Японки – почти что белые. Я знал даже пару англичан, которые женились на японках. Тут все по ранжиру: японки, потом кореянки и малазийки, а потом уже – китаянки.

А если уж иметь дело с китаянками, подумал Генри, надо выбирать дешевых шлюх. Уличные «фазанихи», расфуфыренные, как птицы, и гуляющие туда-сюда по рю Монтиньи, шустрые *динпен*, «маникюрщицы», прозванные так, потому что секс с ними быстр, как полировка ногтей, на худой конец – труженицы «кровавого переулка», рю Чжу Бао-сан, злачного района в Хункоу, за один юань – кусок соленой свинины, за пять – девушка и комнатка, где едва умещается одноместная кровать.

Генри любил именно таких. Как правило, они были украдены еще в детстве или проданы в бордели собственной семьей. Их отчаяние было абсолютным, им не было спасения – как и ему, как и всем. В своем дешевом разврате они были безупречно честны. Во всяком случае, честнее всех белых женщин, которых он знавал, – может быть, за исключением русских.

– Я не знаю, зачем я с тобой иду, – говорил Альберт. – Я же не люблю шлюх, мне с ними скучно и противно. Но я вообще не знаю, зачем я приехал в Шанхай. Зачем я хожу по этим танц залам, бегам и казино? У меня много денег, ты знаешь? По-настоящему много. Три поколения моей семьи выжимали эти деньги из Индии, Африки и Китая – а я не понимаю, что мне делать с этим богатством.

– Я думаю, тебе надо взять семейный бизнес в свои руки, – сказал Генри. – Продолжить дело отцов.

Пьяный пенящийся хохот распирал его, Генри говорил, едва открывая рот.

– Я не могу, мы все не можем, – ответил Альберт. – Все мы – потерянное поколение, не только я. Даже Джеймс, мой брат, и тот не смог.

Потерянное поколение, вашу мать, подумал Генри, лорды хреновы, вырожденцы европейские. Шлюхи ему не нравятся. Яйца бы лучше себе пришил!

– А что с твоим братом? – спросил он, почти не в силах сдержать смех.

– Он был на Великой войне и видел то, что не следует видеть человеку.

То, что не следует видеть человеку, можно увидеть в любом городе, подумал Генри. Надо только уметь смотреть.

– Нет, не просто кровь и смерть, – продолжал Альберт. – К этому он был готов. Мы же имперская нация, мы привыкли воевать. Но там было что-то… такое, о чем он даже не хотел говорить. Однажды я застал его пьяным, совсем пьяным, не как мы сейчас, по-настоящему пьяным, и он пытался рассказать… что-то про белесый туман, невидимое оружие… я убедил себя, что он бредит… но я-то знаю, все это – правда. Джеймс действительно увидел на фронте что-то нечеловеческое… какой-то древний ужас.

– Белесый туман. Невидимое оружие, – сказал Генри. – Конечно. Немецкие газы. Мерзость, но ничего древнего. Очень современная вещь.

Ему расхотелось смеяться. Война, вспомнил он прочитанную где-то фразу, послужила развитию пластической хирургии.

Бляди.

– Он застрелился через два года после демобилизации, – сказал Альберт. – Мой старший брат. Я всегда считал, что он умнее меня, сильнее, смелее. Круче, как сказали бы вы, американцы. А он выстрелил себе в висок. Весь стол в отцовском кабинете был в его мозгах. Все бумаги, которые он должен был подписать.

Несколько шагов они прошли молча.

– Я не могу об этом забыть, – сказал Альберт.

– Ебать! – вдруг взорвался Генри. – Ебать всё это! Не смей забывать! Какого хрена ты должен забыть своего брата? Помни о нем! Возьми лучшую девку в «Дель Монте», трахни ее, засади ей до самой матки – сделай это в память о своем брате, сделай за себя, за него, за весь этот гребаный мир! Просри свои деньги, просади их впустую, на шлюх, казино и собачьи бега. Посмотри на меня: ни работы, ни сбережений, ни надежд. И я – счастливейший человек в мире. Ты знаешь, раньше я думал, что я писатель и мне надо написать Великий Роман. А теперь у меня ничего не осталось, и я понял – ничего не надо делать. Я и так писатель. Каждый день я пишу книгу своей жизни, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Красоте и Любви. Каждый день моей жизни – новая страница моего романа, новый куплет в песне, которую я выхаркиваю миру в лицо. И ты тоже – живи так, чтобы каждый день был памятником твоему никчемному брату, напоминанием о том, что его убило. Каждая капля твоей крови, каждая капля спермы…

Тут Генри теряет равновесие, Альберт ловит его почти у самой земли.

– Черт, мои очки! – говорит Генри. – Помоги мне найти, я без них ни хрена не вижу.

Альберта и Генри встретили громкими криками радости, да и без того в «Дель Монте» стоял гам неудержимого веселья. Саксофон надрывался, публика галдела по-французски, по-английски, по-русски, по-голландски и еще на паре азиатских языков, которые трудно было разобрать. Генри захотелось сорвать с себя одежду и пуститься в дикий пляс. Они подошли к стойке бара, женщины потянулись к ним, словно мухи. Еще бы! По Альберту сразу видно – богач, так что и Генри в своем старом костюме сойдет сегодня за богатого англичанина, играющего в Гарун-аль-Рашида.

Три девки, вываливая груди из глубокого декольте, взяли их в оборот, требуя «шампанского» – на самом деле, дешевого игристого вина, если вообще не сидра, превращавшегося в шампанское только в счете.

Им было лет семнадцать, от силы – девятнадцать. Похоже, все три русские.

– Русские девки обрушили рынок шанхайской проституции, – проорал Генри в ухо Альберту. – Десять лет назад белые женщины были здесь на вес золота. А эти поначалу брали едва ли не меньше китаянок – пока русских не стали нанимать охранниками, это был единственный способ хоть как-то не сдохнуть с голоду.

За соседним столиком светловолосая девица с трудом освободилась от тесного платья и, тряся грудями, залезла на стул. Пышные подвязки жухлыми цветами алели на рыхлых бедрах.

– Аукцион! – закричала она. – Делайте ваши ставки! Я дам тому, кто предложит лучшую цену!

– Не покупай, – прошептал Генри Альберту, – переплатишь. Возьми любую другую, ты англичанин, может, они с тобой и забесплатно пойдут. У русских нет паспортов, они, чтобы отсюда выбраться, на все готовы.

В глубине зала несколько китаянок танцевали с русскими шлюхами. Статные и высокие русские были за мужчин. Генри знал: так китаянки учатся танцевать европейские танцы. Билетики дешевле любого учителя.

Девушка, просившая шампанского, уселась Альберту на колени.

– Не хочешь выпить – пойдем потанцуем. Всего три билетика за танец, а я хорошо танцую.

– Я не хочу танцевать, – сказал Альберт.

– Не стесняйся, парень, – сказал Генри. – Три билетика не деньги, потанцуй, потискай, может, решишься на что.

Девушка скривила пухлые, почти детские губы:

– Тискаться в бардак идите, я танцевать хочу.

Теперь, когда она не шептала, а говорила громко, Генри услышал, какой у нее звонкий, сильный голос. Ей бы в кабаре петь.

– Как тебя зовут? – спросил Генри.

– Таня, – ответила девушка.

– Традиционное русское имя, – он толкнул Альберта в бок. – Сходи, потанцуй, что ты, в самом деле?

– Только тише, у меня там внизу больная мать, – сказала девушка.

У половины русских шлюх, которых знал Генри, была больная мать, каждая третья из старинного княжеского рода, каждая четвертая рассказывала про свой первый бал в царском дворце.

Впрочем, сегодняшняя была слишком молода для дворцовых танцев. Большевики убили царя, когда ей было лет семь, если не пять, – Генри плохо помнил русскую историю, достаточно и того, что в Шанхае он научился не путаться в русских именах, в этих бесконечных Таньях, Соньях, Машах и Наташах.

Худощавую брюнетку, возившуюся с застежками платья, звали Олга. У нее были маленькие груди и узкие бедра.

– Не гаси свет, – сказал он. – Я люблю смотреть.

– Хорошо, – сказала Олга, – только не шуми, ради Бога.

– Конечно, – сказал Генри и завалил ее на спину. Пружины кровати жалобно скрипнули, Генри почувствовал, как напряглось худенькое тело. Раздвинув девушке ноги, он уставился на ее щель. Он не торопился: за уплаченные деньги хотелось растянуть удовольствие.

– Расскажи что-нибудь о себе, – сказал он.

– У всех русских одна и та же история, – сказала Олга, – тут не о чем рассказывать. Давай, не тяни, ты мне не за разговоры платишь.

Генри ничего не ответил. Как всегда, вид разверстого женского лона зачаровал его. Дикий смех, который рвался из глубин его существа на авеню Фош, снова поднимается к губам – и Олгина расселина начинает смеяться в ответ, хохот рвется сквозь пушистые бакенбарды лобковых волос, морщит складками поверхность бедер. Генри смотрит в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, слышит звон колоколов Святой Руси, мелодию мазурки, тихий шепот на незнакомом языке, видит сверкающий паркет дворцовых зал, танцующие пары в бальных платьях, золоченые кареты у барочных подъездов, поводящих мордами гнедых коней, легкий пар дыхания, мужика в смешной шапке, милое, простое крестьянское лицо; слышит звон колокольцев, топот копыт, крики ямщика; видит

заснеженные равнины, санный след, мчащихся всадников, летящие с неба белые хлопья, а потом – вой волков, женский визг, истошные крики, выстрелы, выстрелы – и над всем этим смех, неудержимый, рвущийся наружу красный дикий смех.

Он вошел в нее со всей страстью изголодавшегося мужчины, вжимая худенькое тело в продавленный матрас, стараясь ни о чем не думать, ничего не представлять, ничего не знать об этой девушке, быть просто мужчиной в головокружительный миг совокупления. Пальцы вцепились Генри в плечи, Олга содрогнулась с такой силой, что плотину прорвало, в ушах зазвенело, все было кончено.

– Я же просила тебя – тише, – сказала она и разрыдалась.

Лето давно кончилось. Над Бундом повисла вуаль дождя, и едва различались высотные отели, утлые лодки на волнах Хуанпу, бегущие рикши, снующие туда-сюда кули. В один из таких промозглых предрождественских дней Генри и Филис ехали в дребезжащей коляске в сторону Садового моста.

– Это совсем не смешно, дорогуша, – говорила Филис, – там были все мои деньги. Я считаю, раз Альберт дал ему мой адрес, он должен мне помочь. Все очень серьезно, поверь мне, правда.

Генри поправил запотевшие очки.

– В такую погоду все выглядит серьезным, – сказал он.

Рикша высадил их у «Астор-хауса», старейшего из новых шанхайских отелей. Альберт уже полгода занимал в нем огромный номер.

– Скотч? – спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул Филис стакан.

– Альберт, милый, будь ангелом, выслушай меня, – сказала Филис, залпом выпив виски. – Я расскажу с самого начала, хорошо? Вчера после обеда ко мне в пансион пришел один человек. Сначала я не хотела говорить с ним, но он сказал, что знает тебя и все такое, – и я его впустила. Представился Раковским, Федором Раковским. Мол, он – парижский импресарио, здесь для того, чтобы подготовить гастроли великого русского певца… ну, ты знаешь его имя, милый, он сказал, его знает вся Европа… что-то очень русское, не то на Ч, не то на Щ… я, конечно, впервые слышала, но решила, что удивляться тут нечему. Наоборот, так даже правдоподобней, ведь чтобы наврать, любой жулик выбрал бы знаменитостей, о которых каждый день читаешь в газетах. И вот он услышал, как я пою, и решил, что хочет организовать мои гастроли в Париже.

– Где он слышал, как ты поешь, милая? – спросил Альберт.

– Это бестактный вопрос! – возмутился Генри, с трудом сдерживая смех.

– Наверно, в каком-нибудь кабаре, – пожала плечами Филис.

– Но ты сказала мне, что уже два месяца как потеряла контракт.

– Милый, будь ангелом, дай мне досказать. Он мог услышать, как я пою в баре, просто подпеваю оркестру… и вообще, иногда я пою сама для себя, он мог идти по улице и услышать мой голос… все это неважно, и вообще, обещай, что ты не будешь смеяться, а то я не смогу рассказывать дальше. Обещаешь? Ну вот, вдруг, ты не поверишь, вдруг, без всякого повода с моей стороны, он набросился на меня, и мы начали заниматься любовью. Да, я понимаю, ты не можешь в это поверить, я ведь водила тебя за нос целый месяц, но просто, Альберт, не все мужчины такие терпеливые, как ты. Нет, конечно, я сначала разозлилась, что за манера – смешивать дело с удовольствием, но потом сдалась, он был очень привлекательный, такой, в русском стиле… короче, мы так устали, что заснули, а когда я проснулась, не было ни Раковского, ни пятисот долларов, которые я отложила на черный день. Как он только нашел их, я ведь их спрятала в ящике с моим бельем. Никогда бы не подумала, что такой молодой человек будет шарить по ящикам. Как ты думаешь, Генри, может, он извращенец? Он хотел украсть мои чулки, а потом увидел деньги и не смог удержаться?

– Пятьсот долларов! – воскликнул Альберт. – Боже мой, откуда у тебя такие деньги?

– Милый, это нормальные деньги для Шанхая, – сказала Филис. – Посуди сам, во что обходится здесь жизнь для честной девушки: нормальная квартира стоит 150 долларов, да еще платья, вечеринки, автомобиль…

– У тебя разве есть автомобиль?

– Нет, конечно, у меня нет автомобиля. Откуда? У меня нет ни цента!

Альберт налил еще виски и выпил, разбавив содовой из сифона.

– Больше всего меня удивило, что он назвал твою фамилию, – сказала Филис.

– Филис, дорогая, – сказал Альберт, – не знаю, простишь ли ты меня, но я встретил этого Раковского три дня назад в баре. Он сказал, что он журналист и пишет статью про молодых американских актрис и певиц, который спасаются в Азии от Великой депрессии. Я дал ему твой адрес.

– Альберт, – взвизгнула Филис, – ты бессовестная свинья! Как ты мог так поступить со мной?

– Я думал, он в самом деле журналист, – пожал плечами Альберт, – хотя меня удивил его акцент. Но ничего страшного, я дам тебе пятьсот долларов, только съезжу в банк – и дам.

– Пятьсот долларов! – воскликнула Филис. – А мое честное имя?

– Ну, кто же тебя просил быть такой податливой, – не удержался Генри.

– Генри, дорогуша, помолчи, пожалуйста, это дело между мной и Альбертом. Я считаю, он должен поймать этого человека, поймать и примерно наказать.

– Как я его поймаю? – Альберт снова пожал плечами. – Ты ведь не хочешь идти в полицию?

– Какая полиция, милый? От полиции никакого толку! Надо обратиться к Зеленой банде.

– А при чем тут я?

– Их наверняка знает твоя китайская подружка, с которой ты то и дело встречаешься в казино «Фушен».

– Су Линь? Откуда? Она не знает никаких бандитов.

– Милый, ты такой глупый! Здесь все китайцы знают Зеленую банду. Ду Юэшэн – лучший друг Чан Кайши, помог ему избавиться от красных!

Альберт знал эту историю: дядя рассказывал, как четыре года назад Чан Кайши порвал с Коминтерном и люди Ду за несколько дней разделались с красными в Шанхае. Правда, в дядином пересказе этот эпизод приобрел какой-то невероятный масштаб: послушать его, так за несколько дней Зеленая банда перерезала пять тысяч коммунистов.

– В принципе, Филис права, – сказал Генри. – Гангстеры заправляют в Шанхае всем. Ты слышал, что Хуан Цзиньжун недавно купил развлекательный центр «Грейт Уорлд»?

– Конечно. Но мне говорили, что Цзиньжун – бывший глава полиции французского квартала.

– Вот в этом-то и разница между китайскими гангстерами и американскими, – сказал Генри. – Китайские гангстеры могут одновременно возглавлять банду и работать в полиции. Они даже отдыхают вместе, бандиты и полицейские. Крепят дружбу. Что ты хочешь? Это Азия.

– В любом случае, – сказал Альберт, – я не буду говорить об этом с Су Линь. Она не имеет никакого отношения ко всяким бандам!

– Милый, ты такой наивный! Откуда же тогда у нее столько денег? Ее отец наверняка большая шишка в Зеленой банде. Может быть, даже сам Ду Юэшэн! Помнишь «Дочь дракона»? Там как раз китайская принцесса оказалась дочкой Фу Манчу!

– Ты слишком много смотришь кино, Филис, – сказал Альберт. – Я не буду говорить с Су Линь. Это, в конце концов, просто невежливо. Мы едва знакомы.

– Милый, не ври мне! – сморщила носик Филис. – Вы видитесь каждую неделю!

– Я встречал ее всего несколько раз, – ответил Альберт, – да и вообще, почему я должен перед тобой оправдываться? К тебе в постель залезает первый попавшийся проходимец…

– Ну вот, – губы Филис задрожали, – я так и знала, что ты будешь меня этим попрекать!

– Ладно, хватит, – прервал ее Генри. – Давайте спустимся и потанцуем, как раз время «чайного танца».

«Астор-хаус» был один из первых шанхайских отелей, введших в моду танцы днем. И если по вечерам мужчины, как правило, танцевали с хостесс и такси-дансерз, то на «чайные танцы» приходили со своими подругами.

– Да, – сказал Альберт, – пойдемте вниз.

Нежно-голубые стены зала «Астор-хауса» были расписаны порхающими сильфидами, а круглый задник на сцене, где играл оркестр, изображал расписанный пятью цветами хвост павлина.

– Ты представляешь, дорогуша, – сказала Филис, подбегая к Генри, – Альберт предложил нам поехать вместе с ним! Он собирается в Макао, потом в Гонконг, потом в Ханой – я всегда мечтала там побывать! Мы будем путешествовать втроем, разве не здорово?

– Ты шутишь? – спросил Генри.

– Ничуть, – сказал Альберт. – Потом переплывем океан, отправимся в Южную Америку, пройдем Панамским каналом, доберемся до Египта, посетим Афины и повидаем старушку-Европу.

Кажется, он в самом деле не шутит, подумал Генри. В конце концов, может себе позволить такое путешествие. Разве Альберт не говорил, что у него денег куры не клюют? Одним мановением руки он изменит всю нашу жизнь.

– У вас много вещей? – спросил Альберт. – Успеете собраться до завтра?

– Да, конечно, – потерянно ответил Генри.

– Отлично. Я закажу билеты, и мы завтра вечером отплываем в Макао, – сказал Альберт.

– Милый, ты просто ангел! – сказала Филис. – Пойдем танцевать!

Оркестр заиграл вальс, пары закружились под сенью мраморных колонн, увенчанных кариатидами.

Что станет с нами? – думал Генри. – Мы не сможем остановиться, будем путешествовать втроем, с континента на континент, из одного порта в другой. Альберт женится на Филис, а я буду чем-то вроде мажордома… вроде аны у китайских уличных проституток… что-то вроде личного секретаря у Альберта.

Внезапно Генри увидел себя через десять лет: постаревший, с оплывшим подбородком, во фланелевом костюме и черно-белых туфлях, он разливает виски в гостиной отеля где-нибудь в Северной Африке.

Танцоры кружились. Музыка играла. Сжав губы, Генри глядел, как рука Альберта обнимает Филис. Другие фигуры то и дело скрывали их, пара то появлялась, то исчезала, словно в каком-то кукольном представлении.

Через несколько дней, думал Генри, мы утратим связь со всем миром простых людей, озабоченных хлебом насущным. Мы понесемся по волнам, как пьяный корабль Артюра Рембо, будем «победно проходить среди знамен и грома и проплывать вблизи ужасных глаз мостов».

Голова кружилась. Вероятно, так чувствовали себя в Средние века те, кто рискнул продать душу дьяволу. Он будто вновь заглянул в бездну – и на сей раз бездна сама позвала его, пригласила в свои глубины.

Ну вот, подумал Генри, дело сделано. Теперь я пропал.

Конечно, наши души никому не нужны: дьявол пожалеет за них даже ломаного гроша. Назавтра в полдень портье «Астор-хауса» отдаст Генри и Филис конверт, оставленный Аль-

бертом, который покинул Шанхай утренним рейсом на Макао. Внутри были 600 долларов и записка:

> Дорогие Генри и Филис!
>
> Я не могу больше оставаться в этом проклятом городе, уезжаю немедленно. Надеюсь когда-нибудь встретиться с вами. Напишу из Макао, как устроюсь. Мне будет вас не хватать. Удачи.
>
> *Ваш Альберт Девис*

– Хреновые из нас с тобой вымогатели, дорогуша! – скажет Филис, а Генри рассмеется хриплым лающим смехом.

* * *

Амой, 15 января 1932 года

Дорогие Генри и Филис,

При первой возможности шлю вам открытку. На фото – вид на гавань порта Амой, первого нормального города на пути в Макао. После морской качки с удовольствием чувствую под собой твердую почву, так что недельное ожидание парохода до Гонконга кажется не досадной помехой, а подарком судьбы.

Амой – миленький городок, уменьшенная копия нашего Шанхая: крошечный международный сеттльмент, маленькая британская концессия, даже сикхи на перекрестках кажутся ниже ростом. О местных джазовых клубах и говорить не хочется, по вечерам остается напиваться в баре с британскими чиновниками и торговцами, в равной степени страдающими от малярии.

Все это так старомодно, что даже трогательно. Вероятно, пару десятилетий назад та же жизнь была в Шанхае, да и во всех колониях. Мой дядя, наверное, до сих пор грезит о старых днях, когда британский офицер чувствовал себя как дома в любом порту Индии или Китая: те же исполнительные слуги, тот же скотч в стаканах, тот же вкус хинина. И главное – неизменное чувство превосходства. Вы не поверите, но здешние британцы до сих пор ощущают себя посланцами великой Империи, в таком киплинговском стиле. Америка для них – отрезанный ломоть, глухая провинция. Да, они слышали про Сан-Франциско – это городок, куда удирают из Амоя прощелыги-китайцы. Джаз, кино, современные танцы – все это для них новомодные глупости, недостойные настоящих мужчин.

Вчера вечером, когда жара чуть спала, я забрел на местное кладбище. Надписи на старых надгробьях показались мне исполненными печали и какой-то романтики. Люди, которые легли в эту землю десятилетия назад, жили в совсем ином мире. Уплывая из дома, они не чаяли вернуться: Империя призвала их, и они откликнулись на призыв. Старые надгробья теряются в буйной растительности, но все еще можно разобрать воинские звания, и кажется, будто «майор» или «бригадир» – это все, что они хотели рассказать о себе Богу.

Мои предки были такими же. Здесь, в старом городе, которого не коснулись суета и разврат современного мира, я вдруг испытал чувство родства – куда большее, чем на семейных обедах в Лондоне или в Оксфорде. Хотя, может быть, всему виной виски: сейчас я смутно вспоминаю, что я пытался петь «Правь, Британия!». Боюсь, местные британцы решили, что я над ними издеваюсь, но я был вполне искренен, хотя и пьян.

Милая Филис, жаль, что тебя нет со мной. Здешние англичанки страшны, как… не подберу сравнения… страшны, как англичанки, а китаянки с трудом могут связать пару слов на пиджин-инглиш. Впрочем, о чем это я? Даже будь здесь сама Марлен Дитрих, я бы все равно скучал по тебе.

Дорогой Генри, знал бы ты, как мне не хватает наших задушевных разговоров. Выпей за мое здоровье в «Дель Монте», а если будет время – черкни пару строк: в Гонконге я остановлюсь в «Глостере». Впрочем, почта такая медленная, что пиши сразу в Макао, в отель «Боа Виста» – думаю, я доберусь туда числа 27 или 28.

Остаюсь искренне ваш,

Альберт Девис

10
1928 год
Жатва гнева

Я закурил и посмотрел в окно. Поезд ехал по уродливой впадине меж двух уродливых гор, десятилетиями впитывавших в себя угольную пыль. Над всем этим расстилалось перепачканное небо, словно выползшее из заводских труб.

Мы приближались к Гоневиллу.

Много лет назад в болотистом окопе европейской войны Сэмми Треф назвал свой родной город «Говновиллом», и я подумал, что это шутка: Сэмми и доберманов называл добромanами.

Потом-то я разобрался, что к чему.

– Первый раз в этих краях? – спросил я свою соседку.

Глаза у нее были голубые, рот алый, зубы белые, локоны, видневшиеся из-под шляпки, – светло-каштановые; и был у нее носик. Словом, если не вдаваться в детали, она была миленькая. Независимо от того, начинали ли вы ее рассматривать с лица или с фигуры, результаты осмотра оказывались удовлетворительными. Даже старомодная синяя шляпка нисколько ей не вредила. Ответом мне была белозубая голубоглазая улыбка… тоже, скажем так, милая.

– Да, впервые, – ответила девушка. – Я еду к Филис. Это моя сестра, она в Гоневилле уже два года. У нее там дружок, Витторио Компито. Мама за нее очень волнуется, и, мне кажется, я должна за ней присмотреть.

Голос у нее – я знаю другие слова, но уж будем держаться этого – звучал мило. В нем был мускус, в нем был тембр. Даже среднезападный говор его не портил.

Ее звали Салли, и она ничего не знала о Говновилле. Чтобы скоротать дорогу, я рассказал ей краткую историю этого поганого места – не слишком отличающуюся от десятка других подобных историй.

Городком сорок лет подряд правила Горнодобывающая корпорация Гоневилла, точнее – старый Абрахам Джей Лертон, ее президент и главный акционер, владелец Первого национального банка и половины почти всех здешних предприятий. Говорили, что еще ему принадлежал один сенатор Соединенных Штатов, парочка членов Палаты представителей, губернатор, мэр и большинство законодателей штата.

Абрахам Джей – это и был, в сущности, Гоневилл, а может быть даже – и сам штат.

Во всяком случае, так было до войны, когда «Индустриальные рабочие мира» воспользовались моментом и выдвинули кое-какие требования. Старик пошел на уступки, но в двадцать первом отыграл назад. Ответом была восьмимесячная стачка, в которой обе стороны потеряли много крови – в фигуральном, а уоббли – и в буквальном смысле. Как известно, следом за свободой всегда приходят наемные бандиты – когда был проломлен последний череп и хрустнуло последнее ребро, в рабочей организации Гоневилла осталось столько же пороха, сколько в отгоревшей хлопушке.

Но Абрахам Джей тоже слегка просчитался. Нанятые головорезы выиграли для старика бой, а город оставили себе в уплату за труды: забрать его назад у Абрахама уже не хватило силенок. Да к тому же бандюгам было что о старике порассказать.

– И вот теперь, – закончил я, – город делят три банды. О'Лири заведует бухлом, итальянцы держат подпольные казино, а Лу Старетт дает деньги в рост и скупает в ломбардах весь левый товар, какой найдется в городе.

Витторио Компито был главой итальянского клана, но об этом я Салли говорить не стал.

– А полиция? – спросила она. – Куда смотрит полиция?

– Полиция? – Я усмехнулся. – Шеф полиции Билл Тизл – ближайший кореш Старетта. Его, если угодно, левая рука – если правой считать головореза по прозвищу Ник-Турок. Или наоборот.

Голубые глаза девушки блеснули задорным гневом.

– Неужели никто не может… – она задохнулась от возмущения, – не может очистить город от этой мрази?

Чуть повернув голову, я заметил как двое парней в видавших виды холщовых куртках направились в тамбур.

– Очистить город можно, – ответил я, – но стоит ли игра свеч? Вдруг станет только хуже?

– Люди будут сами решать свою судьбу! – сказала Салли.

Я посмотрел в ее голубые глаза. Да, она была миленькая.

– Хотите, – сказал я, улыбаясь, – я очищу этот город? Для вас.

Смех у нее тоже был милый.

– Вы шутите! – сказала она.

– Ничуть, – ответил я.

На крутом подъеме поезд чуть притормозил. Две фигуры скатились по насыпи, а потом поднялись, отряхиваясь.

– Видите этих людей, Салли? – сказал я. – Когда встретите вашу сестру, скажите ее дружку, что двое ирландцев, приехавших из самого Бостона, сошли с поезда, не дожидаясь вокзала. Только не говорите, что я вас попросил, хорошо? Скажите как бы между делом.

– Скажу, – пообещала она, – а вы мне объясните потом – зачем?

– Потом вы сами поймете, – ответил я и поднялся.

Поезд прибыл в Гоневилл.

Город изысканностью не отличался. Строителей, может, и тянуло к украшательству, но вскоре кирпичные трубы сталеплавильных заводов, торчавшие на фоне угрюмой горы, прокоптили все вокруг желтым дымом до полного унылого единообразия.

Впрочем, ничего другого я и не ожидал увидеть.

От вокзала я пешком дошел до Юнион-стрит. Первому встреченному полицейскому не мешало бы побриться. У второго на потрепанном мундире не хватало пары пуговиц. Третий, не выпуская сигары изо рта, управлял движением на перекрестке с Бродвеем.

Я сел на трамвай и уже через пятнадцать минут поднимался по скрипящей лестнице на верхний этаж почерневшего кирпичного дома. Сверяясь с бумажкой, я нашел нужную дверь. На лестничной площадке я принюхался: слабый кислый запах показался мне знакомым. Хотя я мог и ошибиться.

Дверь открылась прежде, чем я постучал.

На пороге стоял седой мужчина в свитере грубой вязки и засаленных штанах. Черный пистолет тридцать восьмого калибра удобно лежал в его руке и почти упирался мне в живот. Круглые очки не смягчали мрачного взгляда. Я ответил тем взглядом, который у меня был на данный момент.

Так прошло где-то с полминуты – довольно много, если стоять с пистолетом, направленным вам в живот. Не верите – засеките время. В конце концов я очень медленно достал из кармана красную книжицу ИРМ. Мужчина сунул пистолет в карман и протянул руку.

На следующий день я сидел на втором этаже ресторана «Полное затмение». Вдоль длинной стены тянулась стойка, на стеклянной матовой двери рядом было написано «Туалет». Тихо играло радио.

– Я хочу бифштекс с грибами и овощами, – сказал я официанту, – если только овощи свежие, а не из банок. Потом зеленый салат и кофе.

Я подмигнул, и в стакан с имбирным ситро мне плеснули виски. Хотя этикетку бутылки явно делали резиновым штампом, пойло было неплохим.

Я выпил и стал ждать.

Я знал, как это будет: может, я и не услышу звука, но почувствую толчок. Вот это мне больше всего не нравилось на войне – когда земля начинала трястись. Я сразу вспоминал 1906 год в Сан-Франциско, день, когда я стал бездомным сиротой: мать завалило обломками нашего дома, а отца расстреляли солдаты спешно введенного в город 22-го батальона. Он был неграмотный, мой старик, и не читал прокламацию мэра Шмитца, по которой федеральные войска, полиция и спецпод разделения были уполномочены расстреливать на месте за мародерство и другие преступления. А даже если бы читал, не сообразил бы, что в апреле 1906 года мародером может быть признан человек, пытающийся вынести из-под обломков собственного дома подушку и одеяло.

Старик был затюканный жизнью плотник, и мои уличные замашки никогда ему не нравились.

Мир его праху.

Говорят, некоторые полицейские неплохо поживились тогда. Может, с тех пор я и недолюбливаю копов.

Сегодня тряхануло ровно в три. Когда дело касалось взрывчатых механизмов, Леон Бернштейн был точен как часы.

Дверь туалета только слабо звякнула. Ни одна бутылка не разбилась.

Посетители «Затмения» высыпали на улицу. Бежали взволнованные люди без шляп. Машина, набитая полицейскими, обогнала меня на предельной скорости, какая была ей доступна. Проехала «скорая», звеня колоколом, забирая по тротуару там, где движение было гуще. Керни-стрит я пересек рысью. Темный проулок, уходивший в сторону Бродвея, был – пекло в праздник.

Самый праздник был там, где недавно стояла стена двухэтажного дома. Теперь мелкая кирпичная крошка покрывала искореженные остатки автомобиля и труп неизвестного мужчины.

Рядом со мной пронесли носилки, и я услышал тихий вой, такой тихий, что и криком не назовешь. Но в нем, в этом вое, будто слился страх всех, кто боится смерти.

– Что случилось? – спросил я.

– Ребята О'Лири подорвали итальяшек, – ответил возбужденный мальчишка. – Два клиента скопытились, а шлюхам – хоть бы хны.

Я давно заметил: мальчишки – они всё узнают первыми.

Высокая и стройная Филис была одета в голубое платье, открывающее то, что стоило показать: плечи, шею и верхние пять дюймов спины. Овальное розовое личико и волосы самого рыжего цвета, какой может дать хна. Одним словом, она совсем не походила на свою сестру.

Втроем мы сидели в гостиной Витторио Компито и пили пшеничный виски, разбавляя его шипучкой из сифона.

– Похоже, в самом деле канадский, – сказал я, приканчивая третий стакан.

– Ни в чем нельзя быть уверенным, дорогуша, – ответила Филис. – Эти ирландцы такие прощелыги. Никогда не знаешь, что они туда добавляют. На прошлой неделе Витторио принес бутылку джина – так мне показалось, что это была опийная настойка.

Она нервно улыбнулась, обнажив острые зубки, чуть испачканные в ярко-красной помаде.

– Я чувствую, мама не зря за тебя волновалась, – строго начала Салли. – Она просила тебе передать…

Чего боялась ее мама, я так и не узнал: дверь с грохотом распахнулась, и вошел Витторио. Это был плотный, смуглый, моложавый мужчина, с широкими скулами и узко посаженными глазами, одетый в черную шляпу-котелок, прекрасно сидевшее черное пальто, темный костюм и черные ботинки; складывалось впечатление, что все это он купил в магазине каких-то пятнадцать минут назад.

– Милый! – закричала Филис, кидаясь к нему на шею. – У нас гости. Это друг Салли, она познакомилась с ним в поезде…

– В том самом поезде, – проскрипел Витторио, – который привез сюда этих чертовых взрывников-ирландцев.

Голос у него был низкий и сиплый. Он подошел к столу и налил себе виски.

– Если настала пора собирать виноград, – сказал я по-итальянски, – я умею обращаться с серпом и винным прессом.

Он посмотрел на меня изумленно.

– Ну и акцент у тебя, – сказал он по-английски. – Ты что, итальянский в колледже учил?

– Под Витторио на Пьяве, – ответил я. – Там было жарко, но у местных девушек многому можно было научиться.

– Ты в самом деле умеешь обращаться с серпом? – спросил он, тоже переходя на итальянский.

– *Si, signore*, – ответил я. – И с «ремингтоном», и с «томпсоном», и с «льюисом», если в том будет нужда.

(перебивает)

Кто же из нас не умеет обращаться с серпом? Нас ведь всех в школе учили разбирать и собирать «калашников» на скорость.

Однажды в Америке мы устроили большую вечеринку. Пришли русские эмигранты-программисты. Американские профессора. Журналисты из разных стран. В том числе – один новозеландец, специалист по Афганистану. Ездил туда много раз, провел там лет десять как минимум – и в восьмидесятые, и при талибах, и при американцах.

Все выпили, стали рассказывать, кто что умеет. И наша русская подружка похвасталась, что в школе могла разобрать и собрать АК-47 за 15 секунд. Новозеландец удивился и переспросил:

– Как это: разобрать и собрать? В этом же нет никакого смысла. Его же надо разобрать, *смазать* и собрать!

Подружка рассмеялась и сказала:

– Вот, сразу видно: человек умеет обращаться с оружием! Наверное, и стрелять приходилось?

Он посмотрел на нас и так серьезно ответил:

– Поверьте, я никогда не стрелял в хороших русских парней!

И как-то сразу стало понятно, что встречались ему в Афганистане все больше плохие русские парни.

Мы вышли на улицу и влезли в заляпанную грязью машину. За руль сел молодой парень в кепке, низко надвинутой на глаза. Рядом с ним Витторио. Остальные устроились на заднем сиденье. Дождь хлестал по брезентовой крыше, просачиваясь в щели.

– Черт! Лучшей ночки и не придумаешь, – проворчал Витторио, пытаясь увернуться от капель. – Заедем на Контон-стрит, заберем одного паренька.

По дороге он рассказал мне, что происходит: О'Лири затеял передел города, выписал из Бостона двух профи, и сегодня они подорвали один из лучших борделей Витторио. Настала пора нанести ответный удар.

Человечек, которого подсадили в машину на Контон-стрит, был слишком толст для нашего автомобиля. И еще – слишком напуган.

– Витторио, – сказал он дрожащим голосом, – ты же понимаешь, при всей нашей дружбе…

– От тебя ничего не потребуется, – перекрывая шум дождя, сказал итальянец. – Ты только подойди, постучи в дверь и крикни: «Откройте, полиция!»

– А если они начнут стрелять?

Мне казалось, его дрожь передается сиденью – хотя, может быть, машину просто подкидывало на ухабах.

– Они же не идиоты, кто ж стреляет в полицию? – усмехнулся Витторио. – Лучше спокойно сесть в тюрьму на пару дней, а потом выйти под залог. Сам знаешь, как это делается.

Дождь прекратился, зато выбоин на мостовой стало больше. В течение следующего получаса каждому представилась возможность посидеть на коленях у соседа.

У ворот, к которым мы подрулили, висела старая электрическая вывеска. Раньше, когда лампочки в ней были целы, она гласила: «Ресторан “Парамаунт Боллрум”». За воротами, в нескольких шагах, стояло приземистое деревянное строение цвета плесени, окруженное по преимуществу мусором. Дверь и окна ресторана были закрыты.

Мы вышли из машины, Витторио вручил мне «харрингтон», а сам вынул «томпсон» и ткнул полицейского дулом.

– Пошел! – скомандовал он.

Толстый человечек вошел за ворота и, переступая через пивные жестянки, бутылки и старые газеты, направился к ресторану. Он надвинул шляпу на глаза и сунул руки в карманы плаща. Наверное, ему хотелось выглядеть крутым, но все равно в его фигуре сквозила растерянность. Обернувшись через плечо, он крикнул:

– Я только скажу: «Откройте, полиция!» – и тут же отойду, да, Витторио?

Я посмотрел на него с жалостью: он был глуп, как сухой закон.

Витторио кивнул, и человечек двинулся к заколоченной двери. Из-под ближнего подоконника вырвались огонь и гром. Я не стал надеяться на меткость бутлегеров и всадил полицейскому две пули между лопаток. Толстяк рухнул лицом к дому, как я и рассчитывал. Когда придет время, я смогу сказать О’Лири, что коп схлопотал пулю в спину, а выводы ирландец сделает сам.

Пригибаясь, мы отбежали к машине. Паренька в кепке за рулем уже не было.

– Давай, крути мясорубку, – закричал в темноту Витторио. – Шмаляй по фасаду, но пониже, будто сыр режешь.

Пулемет дал пробную очередь, восемь-десять выстрелов, затем заработал всерьез и пошел плеваться металлом – настоящий заводик по производству смерти. Витторио закурил сигару и сказал:

– Против этого не попрешь.

Я кивнул. Пулеметы я уважал еще с войны.

– Еще пять минут, и они узнают, где раки зимуют.

Когда пять минут прошло, мы пошли взглянуть на останки. Ресторан выглядел таким же заброшенным и унылым, только стены – сплошное решето. Из него больше не стреляли – видать, потому что в него постреляли как следует.

Первый этаж был по щиколотку залит спиртным – жидкость хлестала из пробитых пулями банок и бочек, которые загромождали почти весь дом. Мы побродили по зданию, дурея от запаха пролитой выпивки и разглядывая убитых ирландцев.

Кажется, О’Лири недосчитается семерых – хотя вряд ли это были серьезные бойцы.

Перед уходом я сунул в карман невредимую бутылку с фальшивой этикеткой «Дьюарса».

Остаток ночи я помню смутно. Витторио рассказывал мне, как мальчишкой уехал из Италии, когда его отец повздорил с односельчанином и тот обратился за помощью к мафии. Через неделю отца разнесли на куски выстрелом из лупары, а еще через месяц люди из мафии пришли за двенадцатилетним Витторио, подумав, что еще год-другой – и он захочет отомстить за смерть отца. Родственники отправили мальчика в Америку, где он, что называется, нашел себя.

– Эта страна, – говорил он мне, – создана для предприимчивых и смелых. Дома, на Сицилии, я никогда не смог бы добиться того, что у меня есть сегодня. Посмотри сам! Роскошный дом, новая машина, костюмы от лучших портных! Я покупаю моей девушке бриллианты и туфли, которые стоят дороже, чем крестьянин у меня в деревне зарабатывает за год!

С каждым стаканом виски мой итальянский оживал. Помню, я пытался объяснить Витторио, что итальянские шлюхи – самые лучшие, Филис визгливо смеялась и спрашивала его, почему же, если итальянки так хороши, Витторио живет с ней. Итальянец отвечал, что она лучше всех, его маленькая сладкая девочка. Салли морщила милый носик и всё порывалась сказать Филис, что мама беспокоится за нее.

– Этот обалденный город, – говорил Витторио. – Страна свободы, дом смелых. Ты думаешь, деньги можно делать только на сухом законе и шлюхах? Ничего подобного! Умный человек всегда найдет, где заработать!

Потом он что-то объяснял про маржинальные займы – сдается мне, тогда я слышал об этой фигне впервые, но так и не понял, что это такое. Потом Витторио ушел, и Салли сказала, что ей кажется, этот итальянец не пара такой девушке, как Филис, что она удивлена тем, как сестра изменилась, и что не зря мама за нее беспокоится. Филис пьяно смеялась, и в конце концов Салли уснула прямо на кушетке, так и не договорив фразы. Спящей она казалась еще милее – а может, в виски в самом деле что-то добавляли.

Филис укрыла девушку пледом и сказала, цепко схватив меня за рукав:

– Дорогуша, ты знаешь – это же моя младшая сестричка! Она ко мне приехала из этой дыры, из нашего городка, чтобы я научила ее, как надо жить. Сегодня отвела ее в магазин Сакса, и мы скупили целый этаж – все, что нужно девушке. Шелковые чулки, нижнее белье, летние платья, нормальные шляпки, а не этот ужас, в котором она приехала. Она, конечно, кривится и говорит, что я ее разочаровала, но подожди неделю, дорогуша, и ты ее не узнаешь! Это же моя сестричка! Она у нас всегда была в семье самая умная, она все на лету схватывает. Знаешь, я ее научила курить, когда ей двенадцать было: она кашляла, но курила, вот она какая у меня! Ты не смотри, что она сегодня курица курицей, ты на нее через неделю глянь – мы с ней на одно лицо, просто на одно лицо, как близняшки, хотя она и моложе на три года. Мы с ней станем актрисами. Или певицами. Уедем отсюда в Нью-Йорк, будем петь на Бродвее. Ты слышал, какой у меня голос? Я бы тебе спела, если бы Салли не боялась разбудить. Это же моя сестренка младшая, понимаешь, да?

Я кивнул и отошел к сифону. Когда я обернулся, Филис лежала на диване, обняв спящую Салли.

– Знаешь, – сказала она, – мы с ней так четырнадцать лет спали, в одной кровати. Пока я из дома не сбежала три года назад. Дома хреново было, отчим вечно пьяный, мать чуть что драться лезла. Я по ним совсем не скучаю, а Салли… Салли я сама написала. Так что теперь снова будем вместе.

Филис закрыла глаза. В этот момент девушки в самом деле показались мне похожими – кроткая миловидная блондинка и рыжая оторва, в лице которой на секунду проступило что-то детское.

Я взял шляпу, сунул в карман револьвер Витторио, проверил, на месте ли бутылка бутлегерского «Дьюарса», и вышел.

Ночь за порогом была беспросветна, как будущее честного политика.

Иногда хорошо работать по плану, а иногда лучше просто помешать палкой в болоте. Хорошо бы при этом ухитриться остаться в живых, и тут не следует уж очень часто показываться на улицах. Поэтому весь следующий день я провалялся в гостиничном номере, разбавляя «Дьюарс» содовой, и только один раз спустился в ресторан съесть стейк и выслушать очередную порцию слухов.

К вечеру я изрядно нагрузился, но был доволен: похоже, весь город говорил, что полиция перешла на сторону итальянцев и разнесла подпольный склад О'Лири в отместку за взрыв в борделе. Следующего хода я ждал от ирландца – но я ошибся.

В полдесятого, когда, прикончив «Дьюарс», я приступил к бутылке джина, заказанной у портье, в дверь постучали. Я достал револьвер и сказал:

– Войдите.

На пороге стоял вчерашний парнишка-шофер в неизменной кепке.

– Ты нужен Витторио, – сказал он.

– А мне нужно спать, – ответил я, – или хотя бы выпить.

– Ты нужен Витторио, – повторил парнишка без улыбки. – Лу Старетт украл сестру мисс Филис.

Лучше бы, конечно, ехать трезвым, но это все равно было исключено. Раз уж меня ожидала новая работа, я не хотел приступать к ней, когда спиртное у меня в желудке на последнем издыхании. Я перелил джин во фляжку и сунул ее в карман.

Через два часа я позвонил в дверь трехэтажного дома на Смит-стрит. В щелку выглянул крупный мужчина с маленькой головой и чрезмерно широкими плечами.

– Мне надо поговорить с Лу, – сказал я и добавил: – О вчерашнем налете.

Громила сказал: «Входи» – и распахнул дверь. Мне не понравилось, как он на меня смотрел – с деловитостью лесоруба, прикидывающего, куда свалить дерево.

Я кивнул ему, прошел по тускло освещенному коридору мимо двух запертых дверей. Третья внезапно открылась, и высокий светловолосый человек довольно бесцеремонно ткнул мне пистолетом в бок.

– Заходи, – сказал он с легким незнакомым акцентом.

Я вошел. На столе стояло несколько пустых бутылок пива, два колченогих стула подпирали грязные стены. Девушку, сидевшую на третьем, я узнал не сразу.

– Салли, – засмеялся я, – что ты с собой сделала?

– Сходила в парикмахерскую, – ответила она.

Голосок ее сегодня уже не казался таким милым, да и опухшее от слез лицо сильно проигрывало по сравнению с нашей первой встречей. Но главное, что делало ее не похожей на себя, – ярко-рыжие волосы, точь-в-точь того же цвета, что у сестры.

– Вы их перепутали? – спросил я блондина. – Я все не мог понять, зачем вы похитили именно ее, а теперь понял. Две девушки зашли в парикмахерскую, блондинка и рыжая. Кто-то доложил об этом Лу, и ваши громилы поехали за рыжей Филис. И когда на улицу вышла рыжая девица, ее сунули в машину и только здесь разобрались, что к чему.

– Чертова Филис! – крикнула Салли. – «Я сделаю из тебя настоящую женщину, милая!» Завтра же уеду домой! Это не город, а Содом и Гоморра! Права была мама…

– Заткнись, – прервал ее мужчина и добавил, левой рукой показав мне на стул: – Сядь.

Пистолет в его правой все еще смотрел на меня. Я сел, прикидывая, успею ли сбить его с ног, если прыгну, или все-таки схлопочу пулю еще в воздухе. Второй вариант выглядел менее предпочтительным, но куда более вероятным. Поэтому я остался сидеть.

Салли тихо заскулила.

– Меня послал Витторио, – сказал я. – Послал на разведку, потому что я – новый в городе, вы меня не знаете. Но я не дурак ради Витторио подставляться, я бы лучше с вами сам договорился.

– О чем? – спросил мужчина.

– Я кое-что знаю про вчерашний налет на склад. И готов рассказать. Но сначала отпустите девушку. Не могу разговаривать, когда рядом рыдают.

– Привыкай, – сказал мужчина. – Война – это всегда женские слезы.

Я разозлился и ответил:

– Войны я видал побольше твоего, а слез не выношу.

– Как хочешь, – пожал плечами мужчина и крикнул в открытую дверь: – Дикки! Обыщи джентльмена и унеси куда-нибудь эту шлюху!

Новый взрыв рыданий был ему ответом.

Громила Дикки обыскал меня, шустро лишив револьвера и фляжки. Передав их своему напарнику, он поднял Салли в воздух, даже не отвязывая от стула, и, не обращая внимания на крики, унес куда-то в глубину дома. Я надеялся, что ничего плохого с ней не случится.

На то, чтобы прикончить фляжку, нам понадобилось минут двадцать. Собеседником моим оказался тот самый Ник-Турок, правая рука Лу Старетта. В лице его и впрямь было что-то азиатское, хотя я никогда не слышал о светловолосых турках. Именно ему принадлежала идея похитить Филис, чтобы вынудить Витторио к переговорам.

– Лу не нужна война, – объяснил Турок. – Билли Тизл дружит с нами против ирландцев и итальянцев, а если они перебьют друг друга, Старетту не выстоять одному: его выкинут, и старик Абрахам Джей обратно заберет городок себе. О'Лири сам полез в бутылку, вот Тизл и наехал на его склад, чтоб О'Лири приструнить. Сейчас итальяшки считают, что настало время добить О'Лири, раз даже полиция против него! Витторио наверняка уже спланировал наступление. Надо было остановить его любой ценой – и мы этого добились.

– А если я скажу, что полиция не имеет отношения ко вчерашнему налету? – усмехнулся я. – Что убитый коп ел у Витторио с руки, его специально взяли с собой и грохнули, чтобы подставить Билли Тизла?

Турок посмотрел на меня с уважением:

– Твоя идея?

– У меня еще много идей, – ответил я. – Убери пистолет и давай поговорим.

– Мой дед был офицер, и мой отец был офицер, – говорил Турок. – Оба погибли, один на Кушке, другой – в Японскую. Я двух Георгиев получил на прошлой войне! Я офицер, потомственный профессионал войны! И что же? Мать умерла от тифа, сестра бежала из России, прихватив лишь самое необходимое. Мы с ней в Париже открыли русский ресторанчик, но Париж… Париж переполнен русскими ресторанами, и наш прогорел. Сестра пробовала преподавать музыку, языки и тому подобное, но куда там! Мы едва сводили концы с концами. Она умерла в двадцать пятом, я подался в Америку, в Нью-Йорке сошелся с бутлегерами, перевозил канадский виски. А почему бы и нет? Разве весь мир не взирал с равнодушием на то, как у нас отнимают все – жизнь, родину, богатство?

– Подожди, – я перебил его, – я думал, ты из Турции или откуда-то еще из Азии…

– Я же сказал – я из России, – усмехнулся Ник, – а Ник-Турок – потому что сократил свои русские имя и фамилию. Меня звали Никита Туркевич, ты и произнести не сможешь.

Я кивнул и спросил:

– Как же ты попал из Нью-Йорка в Гоневилл?

– Мы вляпались, я бежал, а здесь прибился к Лу Старетту… возглавил его маленькую армию. Я все-таки профессиональный военный, могу хорошо спланировать операцию, пусть в карманной войне и в стране, которую мои предки какие-то сто лет назад вообще не воспринимали всерьез. Когда-то в России я читал английский роман, написанный каким-то поля-

ком, – про белого торговца, который решил стать королем у дикого африканского племени. Вот и я точно также в вашем Гоневилле. С моей помощью Лу вышвырнул из города еврейских бандитов и взял под контроль ломбарды. Мы вынудили Билли Тизла признать наши правила и обеспечить нам поддержку. Я выиграл для Лу Старетта несколько войн – но теперь я хочу мира… Вы, американцы, не понимаете, как простая ерунда, один выстрел, один труп в какой-то дыре, в каком-то Сараево, может разрушить все, что создавалось столетиями.

У вас слишком молодая страна, вам все кажется, что ей ничего не грозит, что впереди – вечность. А все может рухнуть в один злосчастный день, в какой-нибудь вторник или четверг. Если бы тогда, в 1914 году, удалось остановить войну – ничего бы не случилось, большевики никогда бы не победили, и я бы…

Турок сжал кулаки. Мне показалось, что на глазах у него выступили слезы.

– Это была поганая война, – сказал я, – точно. Мне сорок лет, и я уже не лезу в драку по собственной воле. Прошли времена, когда я дрался ради развлечения. Я помогу тебе собрать мирную конференцию и спасти этот городок. Только отдай револьвер – с револьвером в кармане мне будет сподручней бороться за мир.

Турок через стол кинул мне «харрингтон».

– Нужно, чтобы они встретились на нейтральной почве. Где-нибудь в «Полном затмении» или еще в каком кабаке. Ты договоришься с О'Лири, а я беру на себя Витторио – если вы заплатите за мою работу и отпустите девушку.

– Годится, – кивнул Турок.

Когда я вышел на Смит-стрит, ночь близилась к концу.

Улица была цвета дыма. Мои ноги звучно шаркали по мостовой.

Эхо собственных шагов казалось мне подозрительным.

Я завернул за угол, достал револьвер и откинул барабан – пусто. Проклятый русский успел разоружить меня, поэтому все, что мне оставалось, – со всей силы двинуть Дикки дулом промеж глаз. Сразу было понятно, что это пустая затея – он даже не пошатнулся. В ответ он ударил с правой, мне удалось увернуться, зато второй удар попал мне в лоб. Если бы не стена, я бы упал. Было больно, но ему должно было быть больнее, все-таки череп крепче, чем суставы пальцев.

Драться с Дикки было все равно, что пытаться голыми руками остановить грузовик. Он был силен как гризли, хотя и не такой смышленый. Через пять минут я барахтался на мостовой, а Дикки стоял на коленях и двумя руками сжимал мне шею.

Он даже не знал такой простой вещи, что нельзя задушить противника, если руки у того свободны и он знает, что рука сильнее пальца. У любого силача палец слабее руки среднего человека.

Я рассмеялся в его багровое лицо, схватил за мизинцы и дернул. Раздался треск. Дикки заревел. Я принялся за безымянные. Один хрустнул. Прежде чем сломался второй, Дикки отпустил меня.

– Ты сам виноват, – сказал я, – зачем увязался за мной? Может, я хотел встретить рассвет в одиночестве.

На самом деле я хотел спать, но спать было некогда. В гостинице я принял ледяную ванну и, взяв такси, отправился к Леону Бернштейну. Я не спал уже сутки, и алкоголя в моей крови было явно меньше, чем требовалось, – только этим и можно объяснить, что я не позвонил Витторио рассказать, что мы обо всем договорились и Салли в безопасности.

Как и в прошлый раз, Бернштейн открыл дверь раньше, чем я успел постучать. На этот раз обошлось без пистолета и фальшивого удостоверения ИРМ. Я прошел в комнату, и, едва глянув на меня, Леон сразу налил из большой мензурки прозрачной жидкости. Стаканов не было, и мы чокнулись двумя разномастными кофейными чашками.

– *Tierra y libertad!* – сказал он вместо тоста.

Мы выпили, и в голове словно взорвалась шутиха. Я присел на край колченогого стула и сказал:

– Сможешь взорвать «Полное затмение»?

– Целиком? – спросил Леон, и его круглые очки задорно блеснули.

– Не знаю, – ответил я. – Сегодня в три там должны собраться все заправилы. Одним ударом можно обезглавить гидру.

Бернштейн достал из кармана часы.

– Семь часов на подготовку… успею. Пронесу адскую машину в портфеле и оставлю в одном из кабинетов. Завод выставлю на три десять, на всякий случай. Разнесет полздания.

Я поднял голову – Бернштейн улыбался. То ли от выпитого, то ли от бессонной ночи меня пробила дрожь. Мысль о предстоящей бойне не радовала меня. Я не питал ненависти к Витторио, Турку, Лу или О'Лири – да и ко всем остальным, кто попадет под пресс в ближайшую неделю.

Это просто была моя работа, и ее нужно было сделать.

– Не надо так на меня смотреть, – скривился Бернштейн. – Революция – это не светский ужин, революция – это акт насилия.

«Революция, – подумал я, – это когда умные приходят к глупым и бедным, чтобы объявить им, что пора изменить жизнь. И говорят об этом до тех пор, пока всех глупых и бедных не перебьют. Потом они бегут в другое место, и все начинается заново».

– Я радуюсь не тому, что эти мерзавцы сдохнут, – продолжал Леон, – и не тому, что они захватят с собой дюжину бандитов и обывателей. Я думаю о том, что случится в этом городе завтра.

«Завтра я буду спать весь день», – подумал я, а вслух сказал:

– И что же будет завтра?

– Свобода. *Libertad*, как говаривали в Мексике. Ты видел когда-нибудь город без полиции, без бандитов, без власти?

Я кивнул:

– Да. Фриско после землетрясения. Сначала толчок, потом пожар, потом хаос – а через несколько часов вошли войска. И никакой свободы – только руины.

– Мы не боимся руин. Мы несем новый мир в наших сердцах, – сказал Леон и пояснил: – Это Дуррути.

– Он еще на свободе? – спросил я. – С такими взглядами?

– Да. Где-то в Аргентине. Многие сейчас бегут в Аргентину или в Чили. Я тоже думаю податься в те края, если здесь ничего не получится. Для нас, воевавших вместе с Магоном и Риверой в Мексике, вся Южная Америка – один большой дом. Вся Америка. Ты, кстати, знаешь, за что ненавидят гринго?

Я помотал головой.

– За то, что они присвоили себе название всего континента. А на самом деле, стоило Америке обрести независимость, тут же затянули у нее на шее удавку. Я не забуду, как в 1911 году США помогли предателю Мадеро ударить нам в тыл, в Мехикали и Тихуане. Я помню, многие уоббли плакали от стыда, что они тоже гринго. Были ведь настоящие анархисты, хорошие товарищи, отличные бойцы – а говорили такую чушь. Родина – изобретение буржуазии. Можно любить свой город, но нельзя любить свою страну. Почти то же самое, что любить государство. Гринго. Латинос. Индейцы. Аиды. Какая разница! Главное, у нас было целых пять месяцев свободы. Не так уж мало: Парижская коммуна продержалась только 72 дня.

«А потом вошли войска», – снова вспомнил я Сан-Франциско. Леон продолжал бубнить под нос, почти не обращая на меня внимания, чуть раскачиваясь в такт собственным словам. В то же время его руки не прекращали сортировать мелкие детали, разложенные

на оцинкованном столе. Я знал, что через час или два он соберет очередную адскую машину, одну из самых совершенных бомб, созданных человеческим разумом.

Леон Бернштейн был гений.

Я собирался уходить – мне оставалось только договориться о сигнале, который я подам, когда время встречи будет окончательно утверждено, – но внезапно на меня навалилась усталость. В сонном оцепенении я продолжал слушать монолог Бернштейна.

– Когда мы проиграли, уоббли из ИРМ помогли мне перебраться в Штаты. Я избежал пальмеровских рейдов, когда сотни анархистов были высланы из страны, *Local 8* укрыли меня, мы продолжили борьбу. В Филадельфии, в Портленде, во Фресно, в Отервилле, в конце концов – здесь. Мы потерпели поражение, многие отчаялись, но я – нет, я все еще жду революции.

«А еще революция – это хаос, а хаос – хорошее дело для того, кто знает, чего хочет», – подумал я, но ничего не сказал.

Когда я был моложе, я знал нескольких ребят из ИРМ. Они были серьезные парни, не такие болтуны, как Леон Бернштейн. Впрочем, со взрывчаткой он управлялся лучше любого из них – кто бы спорил.

– Я всю жизнь был анархистом, – говорил Леон, – еще в Европе, в этой мелкой уличной луже, где только детям пускать кораблики. Прудон. Бакунин. Кропоткин. Малатеста, Голдман. Беркман. Магон и Ривера, конечно. Всю жизнь, с десяти лет, когда впервые услышал Элен Герц. Она приходила к моему учителю Прокопу Вальду, великому химику-взрывнику. Ее казнили потом, в Париже – за подготовку теракта.

Я встал и еще плеснул себе из мензурки. Жидкость была прозрачная, как родниковая вода, от нее пахло чистым спиртом, без сивушной примеси бутлегерского виски.

– Мы несем новый мир в наших сердцах, – продолжал Леон. – И этот мир ширится каждую минуту. Не уверен. Не уверен. Слишком часто я видел, как новый мир скукоживался. В наших сердцах, да, и в наших сердцах тоже. Несколько часов.

72 дня. Пять месяцев. Не так уж долго. Но игра стоит свеч. Париж 1871-го стоит обедни. Завтра люди проснутся – а бандитов больше нет. И полиции тоже нет. Как в Меса-Верде, когда мы взяли штурмом тюрьму. И у людей будет совсем немного времени, чтобы стать свободными. Но если кому-нибудь удастся – о, дело того стоит. Это – навсегда, на всю жизнь. Даже если потом войдут войска. Все равно. Мы разрушим этот город подпольных баров, казино и борделей. Как в Париже в 1871-м. Как в Калифорнии в 1911-м. Как в Гоневилле в 1928-м. В Говновилле. Нет, не в Говновилле, в Гневвилле, в городе гнева.

Наверно, вторая порция сделала свое дело. Я вдруг увидел все эти города, городки и деревеньки, где на несколько дней или месяцев безвластие и хаос освободили людей. Жизнь без полиции, без принуждения, без лжи, обмана и коррупции. Наверное, это в самом деле счастье – жить свободно, искренне, от всего сердца, хотя бы несколько дней. Я подумал о Салли, привязанной к стулу в подвале дома на Смит-стрит, подумал о Филис, заглотнувшей как наживку фальшивый блеск подпольных казино и борделей, о маме, которую я даже не смог похоронить, о друзьях-солдатах, которых Родина – изобретение буржуазии – послала умирать в Италию и Фландрию. Ведь они могли бы быть счастливы. Может, Леон прав и им не хватило свободы? Может, разрушив продажную власть и уничтожив мерзавцев, мы принесем людям счастье?

Ловкие морщинистые пальцы Бернштейна продолжали собирать бомбу.

То, что осталось у меня от души, давно покрыто мозолями, но я вспомнил ребят из ИРМ, и мне стало немножко стыдно перед мужчинами и женщинами, погибшими за землю и свободу в России, Мексике или Чикаго.

Я заставил себя подняться. Пора было идти.

Я уже подходил к дому Витторио, когда меня обогнал черный «форд». Мне было хорошо видно, как машина остановилась около подъезда, полноватый мужчина в мятом костюме вышел и открыл дверь, помогая своей спутнице. Я сразу узнал Филис, мне показалось, даже расслышал, как она сказала своему спутнику «Дорогуша!» – и в этот момент с противоположного конца улицы, заезжая на тротуар и визжа покрышками, промчался «кадилак». В открытом окне несколько раз что-то сверкнуло, я услышал знакомое «та-та-та» «томпсона» и, пригибаясь, бросился к Филис. Ее спутник полз мне навстречу, оставляя за собой густой кровавый след. Кажется, у него не было половины черепа. Я перепрыгнул через конвульсивно дергающееся тело и подбежал к девушке.

Филис сидела, привалившись к черному боку «форда», прижимая руки к животу. Платье было в крови, хоть выжимай, да и на мостовую уже натекла изрядная лужа. Судорога прошла по ее лицу, и Филис прошептала:

– Дорогуша, меня, кажется, убили… как глупо.

До того, как ее голубые глаза потухли, она успела вцепиться в мой рукав окровавленными пальцами.

Ее похоронили 29 октября, с кладбища Витторио повез меня в свое убежище. Машина долго петляла, сбивая со следа не то полицейских, не то ирландцев. В конце концов мы остановились у маленького покосившегося дома. Круглоголовый мужчина лет пятидесяти, с волосами песочного цвета, одетый в серый, неважно сидящий на нем костюм, открыл дверь. Мы прошли на кухню, где несколько итальянцев расположились вокруг стола, на котором стоял сифон и две пустые бутылки из-под пшеничного виски. Я заметил, что над дверью вбиты два гвоздя, на каждом – по пистолету: на случай, если, открыв дверь, обнаружишь врага с револьвером и получишь приказ поднять руки.

Салли, вся в черном, тоже была здесь. В ее голубых глазах сквозил лютый холод. Завидев меня, она поднялась.

– Мы выйдем во двор, – сказала она Витторио. Он даже не кивнул.

На лице его словно застыла маска. Похоже, он не мог простить себе смерти Филис. Не дождавшись моего звонка, она, никому не сказавшись, отправилась в полицию. Зная о дружбе Лу и главного городского копа, она попросила Билли Тизла помочь освободить сестру. Не знаю, удалось ли им договориться, но Билли, на свою беду, предложил подвезти Филис до дома.

О’Лири и его головорезы уже несколько дней следили за подъездом Витторио. Увидев автомобиль шефа полиции, они утвердились в своих худших подозрениях: Витторио и полиция теперь заодно. Они были злы за сожженный склад и не хотели упускать удобный случай.

Трудно вести прицельный огонь из движущейся машины, тем более стреляя из «томпсона».

К чести Лу (или Турка?) Салли тут же отпустили, тем более что о мирной конференции речь уже не шла. Похоже, войны было не избежать, а растерянная полиция не знала, с кем дружить и на кого нападать.

– Когда вы уезжаете? – спросил я.

– Сегодня вечером, – ответила Салли надтреснутым голосом. Ни мускуса, ни былого очарования в нем не осталось.

– Мне жаль, что так вышло.

Салли кивнула.

– Да, – сказала она, – жаль. Мама все время за нее боялась. Боялась, что-нибудь с ней случится. Ну, вот и сглазила.

Мы помолчали. Дымные облака плыли по серому небу.

– Скажите, – спросила Салли, – это вы заварили эту кашу? Ведь не было никаких подрывников-ирландцев из Бостона, правда?

Я покачал головой:

– Ну не я же взорвал заведение Витторио. И само по себе оно бы не взорвалось. Значит, какие-то подрывники все же были. Из Бостона или нет – какая разница?

Салли помолчала, ковыряя землю носком. Туфли у нее были новые и дорогие.

– Помните, вы обещали мне очистить город от мрази? Там, в поезде? Вот так вы это и делаете?

Я вздохнул:

– Все это глупости, Салли. Я пошутил тогда, в поезде. Я вовсе не борец за справедливость, а просто немолодой мужчина, езжу по стране в поисках своей пригоршни долларов.

– Ах да, – сказала Салли раздраженно. – Вам же все платили. И Витторио, и Турок. Может быть, даже О'Лири.

– Нет, с О'Лири я не успел повидаться, – ответил я, – и давайте закончим об этом. Я вдвое старше вас. Почти старик. И будь я проклят, если стану объяснять причины своих поступков и выставляться идиотом. Возвращайтесь домой и забудьте Гоневилл как страшный сон. Смойте эту чудовищную хну, утешьте свою маму… выйдите замуж за хорошего парня, в конце концов.

Салли покачала головой:

– Я не вернусь домой.

– Салли, – улыбнулся я, – вспомните, что вы говорили у Лу. Про этот город и про то, что мама была права и…

– Я не вернусь домой, – с напором повторила Салли. – Мы с Филис собирались в Нью-Йорк. Стать актрисами, певицами. Выступать на Бродвее. Вы ведь так и не слышали, как она пела? У нее был голос, чистый, как горный ручей. Ангельский голос. И мама очень любила слушать, как Филис поет.

– Но Филис умерла, – сказал я мягко. – Что вам-то делать в Нью-Йорке?

– Я теперь буду за нее, – ответила девушка. – Мы же сестры.

– Послушайте, Салли, – сказал я. – Вам кажется сейчас, что мир перевернулся. Но, поверьте, если я что-то понял на войне – это то, что убийство не так сильно меняет жизнь – за исключением убитого и – иногда – убийцы.

– Я думаю, война сильно изменила вашу жизнь, – сказала Салли.

Я кивнул:

– Да. Когда я вернулся в Америку, я два года не знал, как мне жить. Колесил по стране, бродяжничал, спал в ночлежках… чувствовал себя, как корабль, который плыл по реке, по проложенному фарватеру, но вдруг привычный маршрут закончился и вода несет дальше – и мне даже все равно куда. За спиной у меня остались трупы погибших на войне, а впереди – ужасные глаза мостов.

– Глаза мостов?

– Ну да. Знаете мост тут, за городом? Через гнилой ручей, который местные называют рекой. Вот на этом мосту меня и повязали. Я проехал полстраны, передать последнее «прости» невесте погибшего друга. Правда, девушка и не ждала его, вышла замуж через месяц после гибели Сэмми, а потом и вовсе уехала из города. Но я-то этого не знал и вот пришел сюда. И как раз на мосту Билли Тизл меня и повязал. Бродяжничество. Десять суток в местной тюрьме со всяким отребьем. И каждый день я видел, как под залог выходят убийцы, сутенеры и бутлегеры, – а я отсидел свое сполна в этом их Говно-вилле.

– И когда вы вышли, вы поклялись вернуться и отомстить? – спросила Салли. – Сквитаться со всем этим городом? Уничтожить, как Содом и Гоморру?

– Ну что вы, – я попытался улыбнуться, – как же можно сквитаться с целым городом?

– По крайней мере, Билли Тизл уже мертв, – сказала Салли и, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами, добавила: – Отличная работа, дорогуша!

И нервно улыбнулась, обнажив острые зубки, чуть испачканные в ярко-красной помаде.

Спустя год мой приятель встретил в подпольном баре Сакраменто голубоглазую рыжую девушку. Ее звали Филис, и она сказала, что была в Гоневилле незадолго до событий, о которых много писали газеты. Я попытался ее найти и узнал, что она переехала в Сан-Франциско, откуда вроде бы отправилась в Азию с одним из своих кавалеров.

Иногда я думаю, что это была Салли, а иногда – что какая-то совсем другая девушка. А Салли послушалась моего совета, вернулась домой, вышла замуж и родила двоих или троих милых деток.

Что же касается Гоневилла, ничего хорошего с этим городом не случилось. Впрочем, что мне до этого? Я сделал свою работу – и сделал ее отлично.

Хотя бы в этом Салли была права.

* * *

Стоило ли так стараться, спрашиваю я вас? Стоило ли Господу изливать огнь и серу на Гоморру и Содом? Стоило ли превращать в пепел город за городом? Все исчезнет и так – без всяких бомб, без Божьего гнева, без кровавой жатвы. Исчезнут анархисты, мечтающие переделать мир, исчезнут короли, принимающие решения о судьбе своей страны, исчезнет выражение «адская машина», кварталы публичных домов, ночные клубы с чарльстоном и фокстротом, манера называть женщин «бейби», обращение «дорогуша», частные детективные агентства, контрабандный виски, крутые немногословные парни, умеющие носить шляпу, бары, где, небрежно облокотясь на стойку, курят мужчины, а девушки достают сигарету, чтобы поймать призывный огонек полуночных ухажеров.

Все исчезнет, и невозможно поверить, что когда-то в американском городке полиция состояла на содержании у бандитов и было не понятно, кто настоящий хозяин города. То есть, что я говорю? Всем, конечно, было понятно, кто настоящий хозяин.

Пройдет без малого сто лет – и никто не поверит, что это было в Америке. Где-нибудь в Колумбии, в Мексике, в России – пожалуйста. Но не в Америке, нет.

Так стоило ли стараться, молодой человек, стоило ли стараться?

И старик кашляет – тяжелым, надсадным кашлем человека, сделавшего свою первую затяжку раньше, чем его собеседник появился на свет.

9.2
1934 год
Прощай, Шанхай

На зал опускаются лазурные сумерки. Саксофон всхлипывает, вытянув шею, перекрывает людские крики, шорох шелковых платьев, стук каблуков. Гладкий зеркальный пол, колыхающиеся юбки и полы халатов, каблуки, каблуки, каблуки…

– Да, уже два месяца американцы пьют законно!

– Как весь остальной мир.

– Может, вернешься теперь?

– Ты шутишь?

Белые воротнички мужских рубашек, улыбающиеся женские лица. В темных углах – официанты в белом. Запах вина, запахи духов, запах английской яичницы с беконом, запах сигарет…

Альберт думает: так много незнакомых людей, а кажется – я всех их знаю.

– Да ладно, кому мешал «сухой закон»? Поверь, в Чикаго и Нью-Йорке пили не меньше, чем здесь.

– «Сухой закон» – это способ заработать на дешевой выпивке, вот что я скажу.

– Та же история с опиумом. Вы помните, как они здесь быстро его снова запретили в двадцать восьмом?

– А опиум что, был разрешен?

– Спроси лучше: он что, запрещен сейчас?

Смех, смех, смех. Черные смокинги, накрахмаленные рубашки. Протянутые руки, обнаженные плечи, жадеитовые серьги – европеец не отличит от нефрита.

Идеально круглые столы, беспорядочно расставленные стулья. Альберт Девис сидит в углу, пьет кофе, чтобы взбодриться. Такты музыки, обрывки разговора.

– Целый год, вы только представьте! Одними налогами они подняли миллионов сорок!

– Теперь-то Чан получает не меньше.

– Это уж точно.

– А в Америке опиум запрещен?

– Нет, что вы! Кому до него дело? В Америке курят только китайцы.

– Китайцы не могут не курить, такой народ.

Каблуки, каблуки, каблуки. Ноги кружат в ритмах вальса, в ритмах вальса ноги ступают легче ветра. Гладкий зеркальный пол, запах вина, запахи духов.

– «Сухого закона» больше нет! Выпьем!

Официант в белом, египетская сигара в руке, горький вкус кофе. Филис говорила, что только здесь, в Шанхае, впервые выпила, не нарушая закона. *Когда у нас не было «прохибишн», я была еще девочкой, дорогуша!*

Где ты, Филис?

Приталенная жакетка, юбка до колена, берет, косо сидящий на рыжих волосах. Морщила носик, смеялась, прикуривала сигарету от сигареты, с первой минуты стала называть «милый»: «Милый, будь ангелом, закажи мне еще коктейль».

Я был ангелом и заказал коктейль, а потом оплатил ей квартиру на полгода вперед: в конце концов, за один вечер на ипподроме я терял едва ли не больше, а Филис с Генри куда забавней скаковых лошадей.

Я вернулся через два года – и уже никто их не помнит.

– Журналист в круглых очках? Неплохие костюмы, но дешевая обувь? Ты шутишь! Всех не упомнишь!

– Рыжая американка? Я видел одну на прошлой неделе в «Парамаунте». Или даже двух.

– Зачем тебе? Посмотри вокруг – здесь столько девушек!

Китаянки в облегающих шелковых ципао, мягкие шелковые щечки. Глупенькие трогательные кореянки. Быстрые и хитрые японки. Ловкие мартышки-полукровки. Статные русские красавицы, глубокое декольте, вечерние платья. Словно модели Шанель и Молино, если не присматриваться, если не присматриваться.

Каблуки, каблуки, каблуки.

Ни одного знакомого лица – но все говорят как со старым приятелем. Видать, у шанхайцев хорошая память.

– Ты не вовремя уехал, старина! Пропустил небольшую войну.

– Жалко, что выиграли японцы.

– Но Шанхаю война пошла на пользу. Сам увидишь, как он изменился за два года!

– Это как в Токио после Большого Землетрясения. Новые магазины, дансинги, бары!

– Близость смерти возбуждает.

– Ты хотел сказать: близость японцев?

– Да-да. Близость японцев возбуждает.

– Особенно когда в любой момент можешь свалить.

Смех, смех, смех. Белые воротнички мужских рубашек, улыбающиеся женские лица. Зеркальный пол. Каблуки, каблуки, каблуки.

Китаянки научились танцевать, думает Альберт. Два года назад они нанимали в «Дель Монте» русских шлюх вместо учителей.

Да, Шанхай изменился – даже старых знакомых не сразу узнаешь.

Белые гвозди́ки покачиваются на висках, скрывают кончики изогнутых бровей. Она поворачивает голову – овальное лицо, высокая переносица, огромные глаза, длинные ресницы, мягкие губы, маленькие пагоды серег свисают до плеч. Танцуя, она проносится перед столиком Альберта раз, потом другой… Приникнув лицом к накрахмаленным складкам рубашки, склонив голову, утомленно смотрит из-под цветов гвоздики. Черные бархатные сапожки на высоком каблуке порхают в такт музыке, задевают края ципао, скользят, будто вороны, пролетающие под радугой.

Когда звуки «Неаполитанских ночей» растворяются в белом сиянии ламп, Альберт узнает ее. Он смотрит, как она садится, видит, как губы обхватывают соломинку, розовый коктейль плещется в высоком бокале.

– Добрый вечер, госпожа Су Линь.

– Добрый вечер, мистер Девис. Вы давно не бывали в наших краях.

– Я путешествовал. Амой, Гонконг, Макао… А вы стали еще красивее, госпожа.

Су Линь нагибает голову, серьги чуть слышно звенят – или это только кажется Альберту.

Саксофон всхлипывает, вытянув шею, перекрывает людские крики, шорох шелковых платьев, стук каблуков по зеркальному полу.

Лазурные сумерки опускаются на зал.

Жизнь кажется бесконечной, как морское путешествие. Вальс, фокстрот, чарльстон. Бак Клейтон играет в «Канидроме», Серж Эрмолл – в «Парамаунте».

Качка бесконечных танцзалов, легкая утренняя тошнота, одиночество – как горечь во рту, как соль на губах.

Время тянется незаметно. Все те же волны за бортом, все тот же ровный горизонт. Все тот же шумный перекресток Нанкин и Пекин-роуд. Те же двухэтажные автобусы, дере-

вянные телеги, гоночные машины, сотня оборванных рикш, копошащиеся в пыли куры и стадо буйволов, которых гонят на бойню на Фирон-роуд.

Появляются новые друзья, открываются новые танцзалы. Все больше, все роскошней, все дешевле. «Парамаунт», «Скай Террас», «Венские сады»…

Никто уже не помнит двух смешных американцев – Генри и Филис.

Мне нравится эта женщина, думает Альберт. Она так устала, что, вернувшись после танца, сразу роняет голову на столик.

Третий этаж «Парамаунта». Электрические лампочки вделаны прямо в танцпол. Свет облегает ноги девушек, пробивается сквозь шелковые платья. Резкие тени падают на лица танцующих, превращая их в маски – демонические, глумливые, скорбные.

Женщина в вечернем платье прижимается щекой к столу. Альберту чудится, что она смотрит на него сквозь высокий стакан. Жидкость, точно увеличительное стекло, искажает ее черты. Коктейльная соломинка пересекает скулу, словно росчерк на картине художника-кубиста.

– Я могу присесть?

Девушка поднимает голову и устало говорит:

– Я здесь танцую, а не разговариваю.

Альберт узнает легкий славянский акцент.

– Вы русская?

Девушка кивает: «Меня зовут Таня», – и Альберт сразу вспоминает: «Дель Монте», почти три года назад, безумная ночь с Генри и русскими танцовщицами-проститутками.

– Я не хочу танцевать, – говорит он, – я дам вам ваши билетики и угощу коктейлем.

– Хорошо, – отвечает Таня. – Все равно танцами теперь не заработаешь. Китаянки сбивают цену. Помню, еще в прошлом году было три танца за доллар, а нынче – семь.

Может, это инфляция? – думает Альберт. – Или то, что всё больше девушек готовы танцевать бесплатно? Интересно, если когда-нибудь женщины станут заниматься любовью для удовольствия, как сегодня они для удовольствия танцуют, – проститутки исчезнут?

Но вслух говорит:

– Я слышал, лучшие китайские хостесс стоят больших денег. Дансинги перекупают их друг у друга.

Таня пожимает плечами.

– Я же не «голова дракона» и не «локомотив».

– Жаль, – отвечает Альберт, – я был бы вашим «вагоном». Я видел, вы хорошо танцуете.

Когда-то Генри объяснил ему, что «вагонами» называют постоянных клиентов знаменитых хостесс, которые переходят за ними из клуба в клуб, как за локомотивом.

– Да, – соглашается Таня, – я хорошо танцую. Но я не Пекинская Лилия и не одна из сестер Лян. Меня в кино снимать не будут и «императрицей танцев» не сделают. Китайцы любят блондинок, но сейчас в моде национализм: все лучшее достается местным.

– С другой стороны, вы свободны, – отвечает Альберт. – Вы же слышали историю, как сестры Лян хотели перейти из «Маджестик» в «Венские сады»?

– Да, их вернули адвокаты. Им еще повезло. Знаете, что случилось с танцовщицей из «Вены», которая шантажировала своего патрона?

Альберт слышал много таких историй: англичане любят пугать друг друга коварством и жадностью китайских танцовщиц.

– Нет, – отвечает он.

– Она просила десять тысяч юаней и грозила рассказать об их связи. Ее любовник долго упирался, а потом пошел к своему старшему брату. Тот сказал, что все уладит, и позвал Ду Юэшэна. Ду сказал девушке, что хочет с ней поговорить, а когда она пришла, его охранники связали ее, сунули в машину и отвезли на Вусон, где Хуанпу впадает в Янцзы, – и утопили.

– Черт, – говорит Альберт, – какое варварство!

– Китайцы называют это «чжу нхэ хуа», – говорит Таня, – «сажать водяные лилии». Очень образно, правда?

Альберт кивает. Интересно, думает он, узнаёт она меня или нет? В «Дель Монте», наверное, было много мужчин, всех не упомнишь.

– Ладно, – говорит Таня, – пойдемте, потанцуем. А то потом, когда все закончится, вы пожалеете, что потратили вечер на русские разговоры про смерти и убийства.

– Вы, наверное, устали, – отвечает Альберт. – Хотите, я отвезу вас домой?

– Нет, спасибо, – говорит Таня, – не надо меня провожать. Я сама доберусь.

Голос у нее напряженный и крепкий, как ноги у профессиональной танцовщицы.

Сверкающие полы дансингов, обнаженные женские плечи, крахмальные мужские рубашки. Казалось, это будет длиться вечно, но потом все как-то развернулось в другую сторону, как-то само собой закрутилось: сначала английский гребной клуб, потом бельгийские перекупщики, суматранский уголь, знакомые из Макао и Гонконга, покупатели из Германии и Австрии. Осенью Альберт снял дом, купил новый «бьюик», завел русского шофера, китайского боя и секретаршу-машинистку.

Конечно, времена британской монополии давно прошли, но даже националистам из «Движения за новую жизнь» нужны были люди со связями в Лондоне и Нью-Йорке. Недавний закон открывал доступ на американский рынок, медленно приподнимающийся после Великой депрессии. Настала пора прибрать к рукам этот отрезанный ломоть, думал Альберт, вспоминая старомодных англичан из Амоя.

Британия все еще правила морями. Пароходы везли грузы через Тихий океан, в Сан-Франциско и Сиэтл, и каждый рейс делал Альберта Девиса немного богаче.

Он вспоминал, каким был три года назад, когда приехал сюда. Не знал цену деньгам, не знал цену времени, не знал цену себе самому. И все-таки, оглядываясь назад, Альберт говорил себе, что тогда просто выжидал. Время еще не пришло. Хорош бы он был, займись коммерцией летом 1931 года! Нет, он все сделал правильно – танцевал в клубах, пил в барах, шлялся с Генри, гулял с Филис, потом уехал на два года и вернулся, когда все созрело для настоящего дела.

Разумеется, Альберт по-прежнему бывал в барах и танц-клубах. В конце концов, там бывали все его партнеры: сингапурцы, китайцы, бельгийцы, французы, даже японцы. Там заводились знакомства и заключались сделки. Альберт привык сидеть за одним столиком со знаменитыми хостесс, их патроны гордились деньгами, вложенными в знаменитых красавиц, словно это в самом деле была высокодоходная инвестиция. Сам Альберт избегал долгих связей, но кратковременные интрижки случались. В память о Филис он даже ненадолго сошелся с веснушчатой Кристи из Нью-Йорка. Впрочем, девушка быстро подтвердила репутацию своих соотечественниц – недаром один французский партнер Альберта говорил, что после пятого свидания американка просит подарить автомобиль или призового пони. Кристи, впрочем, продержалась до седьмого.

Иногда в одном из залов «Парамаунта» Альберт встречал Таню. Они танцевали и обсуждали сплетни из жизни знаменитых хостесс, но на предложение проводить девушка неизменно отвечала отказом. Каждый раз, услышав «спасибо, нет», Альберт чувствовал глухое раздражение, словно сорвалась хорошая сделка. Что она строит недотрогу? Можно подумать, он забыл «Дель Монте»! Он бы понял, если бы Таня была *порядочная* – ну, хотя бы такая, как Филис. Но ведь трех лет не прошло, как трясла грудями за бокал фальшивого шампанского!

Но Альберт подавлял раздражение и улыбался Тане, повторяя про себя, что надо уметь ждать, не следует спешить, рано или поздно наступит нужный момент и все случится.

Альберт верил: то, что работает в бизнесе, работает и в любви.

Косые лучи солнца чертят параллельные линии в затхлом, пахнущем опием воздухе. Полковнику Девису, должно быть, чудится, что это линии атаки, направления удара, штрихи на карте. Он неподвижно лежит на соломенной подстилке, старый китаец, проживший с ним лет десять, держит у его рта плошку с зеленым чаем. Альберт незаметно глядит на часы: он рассчитывал успеть к сводкам с закрытия Нью-Йоркской биржи, но, кажется, зря рассчитывал.

Полковник Девис бредит. Его мозг разрушен опиумом, а печень – малярией и алкоголем. Он крепко держит племянника за руку и шепчет:

– Русские идут… готовьтесь к контратаке, лейтенант Девис!

Альберт вздрагивает. Ему чудится, будто старик выкликает с того света его старшего брата, лейтенанта Джеймса Девиса. Впрочем, Джеймс никогда не воевал против русских и, наверное, бесполезен в битве, которой ждет полковник.

– Здесь нет никаких русских, сэр, – говорит Альберт, – здесь только я и Вон.

Полковник приподнимается на циновке и говорит неожиданно четко:

– Не ври! Вон докладывал мне: в Шанхае полно русских! Мы не должны потерять Шанхай. Поверь, мой мальчик, если мы отдадим Шанхай, мы проиграем всю Империю. А здесь полно русских шпионов из самого Санкт-Петербурга!

Альберт вздыхает.

– Дядя, – говорит он, – нет больше никакого Санкт-Петербурга. Столица России теперь в Москве.

– Не говори глупостей, Альберт! – сердится старик. – Столица Российской империи – Санкт-Петербург.

– Нет больше Российской империи, и Петербурга нет, – отвечает Альберт.

Старик вдруг успокаивается.

– Ага, – говорит он, – значит, мы все-таки их победили. Очень хорошо. Интересно, что сталось с подполковником Шестаковым и полковником Туркевичем? Мне бы хотелось, чтоб они уцелели. Они были настоящие джентльмены. Ты знаешь, как я с ними познакомился, мой мальчик?

Альберт кивает, но полковник все равно рассказывает старую историю о том, как перед битвой у селения Пендже молодой лейтенант Девис вместе со своим командиром встретил четверых русских офицеров. В лучших традициях Большой Игры они обменялись любезностями, разделили трапезу и распили бутылку «Вдовы Клико». Расставаясь, заверили друг друга, что будут рады встретиться в Санкт-Петербурге, Лондоне или на поле битвы.

Если эти русские также хорошо помнят дядю, то они уже ждут его, думает Альберт. Если Вон не ошибается, уже сегодня полковник вместе с ними будет пить амброзию, эту небесную «вдову Клико».

Вон подносит трубку, старик затягивается сладковато-медным дымом.

– Мы их бросили, мой мальчик, – бормочет он. – Они рассчитывали на нас, а мы их бросили. Ты бы видел, что там творилось на следующий день.

Альберт вопросительно смотрит на Вона.

– Афагани, – поясняет китаец, – река Кушка. Русские всех афагани убивать, всех.

Альберт кивает. Ну да, правильно. Молодой лейтенант Чарльз Девис был в том самом отряде, который должен был помочь афганцам в битве против русских. В последний момент было решено не доводить дело до прямого столкновения. Англичане отошли, оставив афганских союзников один на один с казаками. Разумеется, те разделали азиатов в пух и прах – но английский отряд свою миссию выполнил: русский медведь испугался и замер на границе Афганистана.

В Оксфорде Альберту говорили, что это был конец Большой Игры, соперничества царской России и викторианской Англии за Среднюю Азию и Туркестан. С тех пор прошло

полвека, но для полковника Девиса битва продолжается: ядовитый дым опия кажется пороховым дымом сражения, звон уличных трамваев – сигналами к атаке, резная трубка в пожелтевшей ладони – рукоятью сабли.

Воздух хрипло вырывается из изъеденных дымом легких, сухие губы чуть приоткрыты.

– Вперед! – шепчет старик. – В атаку! Ружья к бою!

Где-то далеко-далеко, на каменистом берегу маленькой речушки, лейтенант Девис, молодой и полный сил, мчится на врага, обнажив саблю. Британские солдаты заряжают ружья, афганцы на низкорослых лошадях, заслышав английскую речь, прекращают позорное бегство и обрушиваются на врага. *Огонь!* бормочет полковник, и огонь вспыхивает – яркий, ослепительный, белый, словно само солнце взорвалось над афганскими горами. Всадник въезжает в это сияние, отбрасывает ненужную саблю, рука его разжимается, трубка падает на циновку…

– Полковник Девис… она умерла, – говорит Вон.

– Я распоряжусь насчет похорон, – говорит Альберт.

Ну да, биржевые сводки подождут.

Через неделю Альберт расскажет Тане о смерти дяди:

– Он до самого конца верил, что Российская Империя цела и засылает в Шанхай шпионов.

– Увы, – отвечает Таня, – сюда сейчас засылает шпионов Коминтерн.

Они будут сидеть за круглым столиком дансинга, музыка будет обволакивать их, коктейль будет скользить по узкой соломинке, достигая рта, горла, желудка, насыщая кровь алкоголем, придавая хрипотцы Таниному голосу, туманя голову Альберта.

– Мой дед тоже воевал где-то в тех местах, – скажет Таня, – помню даже слово «Кушка». В детстве оно мне казалось смешным, оно по-русски в самом деле смешное.

– А твой дед жив? – спросит Альберт.

– Нет, – покачает головой Таня, – большевики расстреляли.

Они пойдут танцевать, девушка склонит голову на грудь Альберту, помада оставит маленькое красное пятнышко на белоснежной крахмальной рубашке. Они будут молчать, и только за столиком Альберт спросит:

– Сколько тебе было лет, когда вы бежали из России?

– Семь, – скажет Таня, – мне повезло, я была маленькая.

Альберт попытается сосчитать, сколько ей сейчас. Получается – двадцать три. Много. Редкая хостесс продержится в хорошем месте после двадцати пяти. К этому времени она должна накопить денег либо найти богатого покровителя, а иначе – «кровавый переулок», матросы в Хункоу, размалеванное лицо старой шлюхи.

Таня еще держится, молодец.

Она отхлебнет коктейль и скажет, глядя в сторону:

– Бандиты насиловали мою мать два дня, пока она не умерла. А меня не тронули, пожалели. Я маленькая была.

Альберт накроет Танину руку своей ладонью и скажет, просто чтобы не молчать:

– Понимаю, почему русские не хотят возвращаться.

– Почему не хотят? – удивится Таня. – Многие хотят. Боятся просто. Я бы вот вернулась. Знаешь, я ничего не помню про Россию – всё как отрезало. Иногда только приснится – закаты над Волгой, березовые рощи, санная дорога посреди бескрайнего снежного поля… каждый раз просыпаюсь в слезах. Представь, что ты бы никогда не мог вернуться в Лондон?

– Да, это было бы ужасно, – вздохнет Альберт, а сам вдруг поймет, что легко может отказаться от Лондона и остаться здесь навсегда.

Этим вечером Таня впервые разрешит проводить ее – но не пустит в дом и не поцелует на прощанье.

У высоких ворот – дерево, керамика, черепичная крыша – один за другим останавливаются большие черные машины. Выскакивают телохранители, потом выходит хозяин – разодетый в шелка или чаще в традиционном черном халате и чикагского фасона черной шляпе: униформе местных гангстеров. Девушки в ципао, с замысловатыми прическами – никаких вечерних платьев, никаких смокингов, никакого подражания Европе. Сегодня в моде национальный стиль, особенно здесь, в «Метрополь Гарденз Боллрум», первом настоящем китайском дансинге.

Никакого бетона, никакого ар-деко, никаких псевдоантичных статуй – только национальная архитектура. Восьмиугольный узор на полу, традиционные символы процветания и богатства; на стенах – гобелены с драконами и фениксами (мужчина и женщина, император и наложница, патрон и хостесс – понимайте, как хотите). И при этом – электрические лампы, модная мебель, джазовый оркестр из десяти человек (китайцы, европейцы, американцы).

Гости – прежде всего китайцы. Городские чиновники высокого ранга, полиция, коммерсанты и, конечно, члены Зеленой банды Ду Юэшэна, вдохновителя (а поговаривают – и владельца) «Метрополь Гарденз».

Этот дансинг – одно из тех мест, куда Альберт не может себе позволить не прийти. Вечер, проведенный в «Метрополь Гарденз», как бы говорит его партнерам, что Альберт уважает Китай, уважает его культуру и историю, поддерживает «Движение за новую жизнь», генералиссимуса Чан Кайши и китайских националистов.

Конечно, он поддерживает. Разве можно не поддерживать тех, кто дает тебе возможность хорошо заработать?

Разумеется, Альберт ходит сюда не только засвидетельствовать свое почтение китайскому национализму – в «Метрополь Гарденз» всегда можно встретить нужных людей.

Впрочем, сегодня его ждет неожиданная встреча.

– Госпожа Су Линь? Как давно мы не виделись! Вас не было в городе?

Су Линь – как всегда безупречно красива, спокойна, холодна. И улыбается как всегда – сдержанно-доброжелательно.

– Я уезжала по делам.

– Какие могут быть дела у такой красивой женщины? Уж не вышли ли вы замуж?

– Нет, что вы, – легкая улыбка в ответ, – просто мой отец перевел часть нашего семейного бизнеса в Гонконг, и я должна была провести там некоторое время.

– А чем занимается ваша семья? – спрашивает Альберт. Он всегда хотел узнать.

Су Линь улыбается:

– У нас много разных дел. Торговля. Строительство. Коммерция. Мы даже издаем журналы – вот, кстати, позвольте вас познакомить, это господин Шу, журналист и литератор. А это господин Девис, он окончил Оксфорд несколько лет назад.

Господин Шу поправляет круглые очки и, привстав, пожимает Альберту руку. Пожатие у него слабое, почти женское.

– Присаживайтесь, господин Девис, – говорит Су Линь, – мы как раз говорили о будущем Шанхая. Каков ваш прогноз?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.